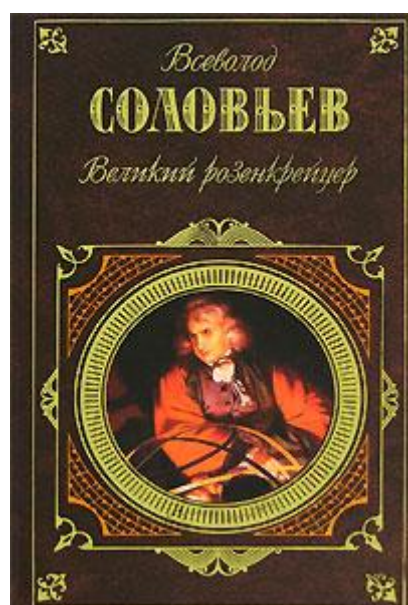




Всеволод Сергеевич Соловьев

Великий розенкрейцер

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172103
Великий розенкрейцер: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-19630-7

Аннотация

Россия блистательной эпохи Екатерины II. Граф Калиостро, тайные ордена масонов и розенкрейцеров внедряют опасные мистические учения в умы высшего русского общества, что грозит утерей истинной веры и духовной гибелью. Потому что волхвы – это люди, владеющие тайными знаниями, достигнутыми без Божьей помощи, а значит их знания могут завести человечество в преисподнюю.

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	7
III	10
IV	12
V	15
VI	18
VII	22
VIII	25
IX	30
X	33
XI	37
XII	39
XIII	42
XIV	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Всеволод Соловьев

Великий розенкрейцер

Часть первая

I

Императрица была очень огорчена мгновенной и таинственной смертью молодой графини Зонненфельд. Впечатление было тем более сильно, что эта смерть случилась так близко от нее, в здании дворца, в помещении камер-фрейлины Каменевой.

Царица чувствовала большую симпатию к покойной: узнав о ее безвременной смерти, она даже не удержалась от слез, а она редко поддавалась такой слабости. Ей представилось юное, прелестное лицо бывшей княжны Калатаровой таким, каким она видела его в первый раз, несколько лет тому назад, когда молодая девушка, почти ребенок, была ей представлена. Ей вспомнился слишком внезапный и необдуманный брак княжны с немецким дипломатом, потом скандал развода и последнее свидание с графиней Еленой. Недаром царице было как-то особенно тяжело после этого свидания – ведь уж тогда преображенное, более чем когда-либо прекрасное, исполненное страдания лицо молодой женщины ясно говорило о приближавшейся катастрофе. Ведь и тогда, если бы только царица хотела разобраться в своих впечатлениях, она должна была видеть, что такие страдания не могут пройти, не могут кончиться не чем иным, как смертью.

Да, она могла бы все видеть и понять, могла бы знать, что это свидание ее с несчастной красавицей – последнее свидание. Только ведь человек все понимает и обо всем догадывается слишком поздно, когда уже нечем помочь, когда судьба свершилась. Да и чем бы она могла помочь? Перед судьбою все могущество, вся власть человеческая – ничтожны...

И вот графиня Зонненфельд умерла, умерла от страдания, которого нельзя было пережить. Но в чем заключалось это страдание, это безысходное горе ее жизни – царица не знала. И ей захотелось узнать эту тайну.

У великой Екатерины было свойство весьма немногих людей, являющееся в большинстве случаев одним из признаков гениальности и объясняющее необычайную плодотворность деятельности царицы, – она умела заключить в себе целый мир самых противоположных интересов, не имеющих ровно никакого между собою отношения. Она умела отдаваться каждому из этих интересов всецело и с необыкновенной легкостью переходила от одного к другому, в течение нескольких часов производила смену самых разнородных занятий.

Каждый день ее проходил так: один час – кипучая законодательная работа, другой час – обсуждение различных текущих государственных дел, третий – творческое вдохновение, изображение жизни в форме литературных произведений, по преимуществу комедий – этой самой сжатой и живой литературной формы. Затем, не чувствуя никакого утомления и забывая все только что покинутые ею занятия, как будто их никогда не было, царица призывала к себе внука, великого князя Александра, и давала ему урок, вела с ним строго обдуманную беседу, которая всегда прибавляла что-нибудь к развитию будущего наследника русского престола.

Но вот и этот час прошел, великий князь удаляется. Теперь перед государыней целая груда запечатанных пакетов. Ее корреспонденты из разных мест России, а также заграничные друзья ее, главным образом барон Гримм, сообщают ей о всевозможных делах и предметах. И она не пропускает ничего, заинтересована всем, начиная от вопросов большой важ-

ности и кончая самыми мелочными делами. На каждое письмо готов ее ответ, принято новое решение, созревает новый план...

Затем наступает злоба дня, и царица, свежая и свободная от всяких забот, от всяких тревог и посторонних мыслей, будто только что проснувшаяся после крепкого, освежающего сна, отдается этой злобе дня. Ее невероятная память хранит в себе целую бесконечность впечатлений, она никого и ничего не забывает, знает подробно все относящееся не только до окружающих ее людей, но даже до таких лиц, о которых она имеет сведения лишь понаслышке. Что раз вошло в мозг и в чувство этой удивительной женщины, то уж и не исчезает, а живет в них, незаметно переходя из настоящего в прошедшее и навсегда затем сохраняясь в складах всеобъемлющей памяти. Внутренний мир Екатерины – это самая удивительная лаборатория, и заглядывать в эту лабораторию всегда интересно для наблюдателя жизни...

Таким образом, и теперь, под впечатлением смерти графини Зонненфельд, царица на известное время всецело отдалась смутившим ее впечатлениям. Она вообще не любила думать о смерти и гнала от себя мысль о ней, эта же безвременная смерть существа юного, прекрасного, исполненного всяких талантов, рожденного, казалось, для долгой и счастливой жизни, глубоко возмутила ее. Один миг – и нет человека, и вместе с человеком рушится, уничтожается целый разнообразный мир, в нем заключавшийся... Время!.. Она оглядывалась назад и видела, как невероятно быстро мчится это время, с какой ужасающей торопливостью уходят годы один за другим. Так, недавно сама она была молода, и жизнь казалась ей какой-то бесконечностью, а теперь вот уже давно ушла молодость... Кто знает, быть может, скоро придет смерть, внезапно, неожиданно-негаданно, и оборвет все разнообразные, вечно трепещущие нити, связывающие царицу с окружающей ее жизнью и мощно влияющие на эту окружающую жизнь.

Екатерина чувствовала, что она не может умереть, что она не должна умереть, что ей необходимо жить долго – и для себя, и для других. А между тем она не могла справиться с поднимавшимися в ее душе сомнениями, не могла отогнать от себя, в известные минуты, призрака смерти – и мучилась этим.

Она всем говорила, что проживет долго. В одном полушутливом, полусерьезном разговоре со своим приятелем Дидро, или, как его называли при дворе, господином Дидеротом, она несколько лет тому назад, рассуждая о Петре Великом, сказала:

– О, я еще не скоро с ним увижусь, хотя мне и очень хочется с ним побеседовать. Раньше как в восемьдесят лет я не сделаю ему визита...

А между тем, говоря это, она с ужасом помышляла о том, что этот визит может произойти и гораздо раньше. Как бы то ни было, но теперь снова, мучительно и почти болезненно, она думала о смерти. И в то же время ей хотелось, страстно хотелось разглядеть и узнать то тайное горе, которое безжалостно свело в могилу красавицу графиню. Конечно, ей не трудно было догадаться, что это горе была любовь. Да, это ясно! Екатерина из слов несчастной молодой женщины во время их последнего свидания поняла это. Но любовь к кому? Кого так безнадежно, так смертельно могла любить красавица? Кто мог нанести такой удар сердцу этой пленительной женщины? И какая связь может быть между ее неожиданной смертью и другой красавицей, Зиной Каменевою? Ведь они не знали друг друга, между ними не было и не могло быть ничего общего. Зина совсем ребенок – что же общего? А между тем ведь не может быть никакого сомнения в связи между смертью графини и Зиной! К ней явилась несчастная, у них было какое-то объяснение – об этом знает Марья Савишна Перексихина, которая все знает, – и во время этого объяснения графиня упала мертвой.

Царице было известно, что Зина Каменева не отходила от гроба покойницы и выражала все признаки особенно тяжкого горя, как будто умерла ее самая дорогая, самая близкая подруга. Царица ездила поклониться праху усопшей и видела Зину у гроба, похудевшую, измученную.

Графиню похоронили. Зина вернулась к себе и целую неделю пролежала. Роджерсон, по приказанию царицы, несколько раз в день навещал ее и каждое утро докладывал Екатерине о состоянии больной.

Роджерсон не видел ровно ничего особенного в этой болезни. Молодая девушка очень впечатлительна и чувствительна; неожиданная смерть, хоть и совсем посторонней для нее женщины, но у нее на глазах, во время разговора с нею, не могла не потрясти ее. В первые дни она была возбуждена, проявляла усиленную деятельность, ну, а затем неизбежно произошла реакция, ослабление.

Однако юность и хорошее здоровье, в соединении с лекарствами, по уверению Роджерсона, действовали быстро. Прошло несколько дней – и лейб-медик объявил императрице, что камер-фрейлина Каменева совсем здорова, совсем поправилась, что ее даже вредно держать в ее комнатах, что она должна приступить к исполнению своих обязанностей и вообще смена впечатлений, развлечения и доброта государыни окончательно изгладят в ней все следы пережитого потрясения.

В тот же день Зина была призвана к царице. Внимательно взглянув на молодую девушку, Екатерина увидела, что Роджерсон прав, что Зина действительно выздоровела. На ее щеки вернулась здоровая краска. Но все же она, очевидно, вовсе не спокойна, в ней заметна какая-то особенная задумчивость, какой прежде не было. Это понятно – иначе быть не может. Екатерина решила осторожно вывести и узнать интересовавшую ее тайну.

II

– Дитя мое, – сказала царица, в то время как Зина, склонясь, целовала ее руку, – я очень рада, что ты здорова и что розы по-прежнему цветут на твоих щеках.

И при этом она нежно погладила Зину по щеке своей маленькой мягкой рукою.

– Но дело в том, что ты у меня в долгу, ты пропустила не одно дежурство, а посему изволь-ка подежурить и сегодня, и завтра. Мне нынче как-то не по себе, уж вечером у меня не будет никакого приема, и я не двинусь с места. В восемь часов я позову тебя, и ты будешь мне читать.

Зина даже вспыхнула от удовольствия. За все время пребывания ее во дворце у нее выдался один только такой счастливый вечер месяца два тому назад: в течение трех часов она была наедине с государыней и читала ей. Екатерина несколько раз прерывала чтение и беседовала с Зиной о прочтенном. Эти три часа пролетели для смолянки как сон, и, вернувшись к себе, она даже всплакнула от радости и спросила себя, за что ей такое счастье. Великая, мудрая, обожаемая царица была так близка к ней, так задушевно говорила с нею, с такой несказанной добротою и ласковостью поучала ее, открывала перед нею сокровищницу своей мудрости. Теперь, когда, несмотря на вернувшееся здоровье, в ее душе было очень смутно, тоскливо и даже страшно, – на чем лучше могла она успокоиться и отдохнуть, как не на близости к царице, как не на этих часах чтения, на интимной беседе с нею? Зина чувствовала себя теперь особенно одинокой, ближе царицы у нее никого не было. Никого не любила она так, с таким детским обожанием, как царицу.

Зина весь день ждала этих заветных восьми часов. Наконец они пробили, она у государыни, в ее рабочем кабинете, где никого нет, где все погружено в тихий полумрак, озаряемый только четырьмя восковыми свечами, поставленными на письменный стол и прикрытыми абажуром.

Царица с видом как бы некоторого утомления полулежит на своем любимом мягком и низеньком кресле, прислонясь к его покато́й спинке. Волосы ее уже расчесаны на ночь и спрятаны под белым чепчиком. Она запахнулась в свой серый атласный халат, мягкие складки которого обрисовывают ее полную фигуру. Ее маленькие ноги в теплых туфлях вытянуты и лежат на большой подушке, и тут же, возле этих ног, свернувшись, спит любимая белая собачка царицы Лэди.

При входе Зины царица указала ей на стул возле письменного стола, ближе к свечам, и на раскрытую книгу, лежавшую на столе.

Зина с несколько робкой, но в то же время радостной улыбкой присела на стул и подвинула к себе книгу.

– Боюсь, что ты будешь пенять на меня, – сказала царица, – чтение на сей раз вряд ли займет тебя. Это очень серьезная книга, сочинение великого Монтескье. Она написана не для таких юных голов, как твоя, но что делать! Мне непременно надо сегодня побеседовать с Монтескье, а у самой что-то глаза болят...

– Однако, – прибавила она, – быть может, я не права – ты умна, ты хорошо училась, ты серьезна, а великий писатель излагает свои мысли так ясно, что, пожалуй, он и тебя заинтересует. Постарайся читать внимательно и, если чего не поймешь, остановись и спроси меня, это будет и для меня полезно – разъяснить глубокую мысль.

Зина приступила к чтению. Она старалась заинтересоваться мыслями Монтескье, но, к ужасу своему, заметила, что это ей никак не удастся. Она просто отдавалась сначала приятному ощущению тишины этой комнаты, близости к ней обожаемой царицы, потом эти приятные ощущения переходили в тревожные, ей вспоминались все последние мучительные

дни, все, что она пережила, все, что она узнала, – и трепет наполнял ее, и она спешила уйти от своего страха снова в тишину этой комнаты и в близость любимой царицы.

Уже несколько страниц книги прочтено, но она не помнит ни одного слова из прочитанного, будто она это и не читала. А царица сейчас остановит ее, сейчас спросит. Что же она скажет? Ведь она должна будет признаться, что была далеко и что ни одно, как есть ни одно слово, не осталось в ее памяти.

Царица действительно ее остановила.

– Ну и что же, – сказала она, – не правда ли, ведь это все так ясно и просто сказано? Простота и ясность – признак гения. Гений умеет облечь самую глубокую, самую тонкую, почти неуловимую мысль в простую и ясную форму...

Но вдруг она остановилась и пристально взглянула на Зину.

– Ты меня не слышишь! Ты читала, и сама не знаешь, что такое прочла, – я вижу это по твоим глазам. Или я ошибаюсь?

Зина готова была расплакаться.

– Нет, ваше величество, вы не ошибаетесь, – прошептала она, – я...

Она не могла закончить фразу, в груди ее как бы поднялось что-то, сдавило ей горло и наконец вырвалось неудержимым, громким рыданием.

Екатерина повернулась в кресле, потом встала с него и подошла к Зине. Она обняла ее.

– Дитя, ты еще не совсем здорова, – сказала она, – успокойся. Это я виновата, твой свежий и цветущий вид обманул меня.

Говоря так, она уже отлично понимала, что успокоить Зину можно одним только способом – дать ей выплакаться и затем заставить ее высказать все, что у нее на душе. Теперь незачем ее даже ни о чем спрашивать, надо быть только ласковой с нею – и она сама все скажет. В этом расчете Екатерина и устроила чтение, и теперь, глядя на рыдающую Зину, она видела верность своего расчета. Все, что Зина пережила и узнала, давило ее невыносимо. Под этой тяжестью она не могла жить и не умела сама разобраться в себе, не умела ответить себе на самые важные вопросы. Был один только человек, который мог бы помочь ей в этом, – это добрый священник, находившийся тогда рядом с нею у гроба графини и сказавший ей слова, навеки в ней запечатлевшиеся. Но этого доброго священника нет, и она не знает, где искать его, не знает, когда он придет к ней, а, кроме него, единственное существо, под защиту которого она должна прибегнуть, которому она может открыть свою душу, – это царица.

В годы Зины, в хаосе мучительных ощущений, нахлынувших с такою силою, одиночество невозможно – от такого одиночества можно сойти с ума. И вот инстинктивное чувство самосохранения заставляет Зину довериться царице и рассказать ей, как на духу, все. Екатерине стоило одним словом ободрить ее, и, конечно, она сказала это ободряющее слово.

– Успокойся, – произнесла она, ласково и в то же время властно глядя в глаза Зины, – успокойся и Расскажи мне все, что с тобой было за это последнее время. Открой мне, что было общего между тобой и графиней Зонненфельд. Почему она очутилась у тебя и у тебя умерла? Я знаю, как тебе все это тяжело, как тебе, может быть, трудно говорить об этом, но уверяю тебя, дитя мое, что раз ты мне скажешь откровенно – тебе станет легче. Не смущайся ничем, а главное – не скрывай ничего. Ты сама должна понимать, что никто не даст тебе лучшего совета, как я, что только мне и можешь ты открыть свою душу, как матери, – ведь я для тебя заменяю мать.

Вся душа Зины так и кинулась навстречу словам этим. Она припала головою к руке царицы и, покрывая эту руку поцелуями и моча ее своими слезами, начала исповедь. Да, это была настоящая исповедь! Зина ничего не скрывала, она передала царице не только всю сцену свидания своего с обезумевшей от горя графиней Зонненфельд, но и все свои собственные ощущения: свою встречу с таинственным и ужасным человеком во время празд-

ника в Смольном монастыре, действие на нее его непостижимого взгляда, от которого она потеряла сознание, тогда, на эстраде, во время исполнения роли весталки.

Императрица внимательно и все с возрастающим изумлением ее слушала. Она видела, что на рассказ Зины можно положиться, что перед нею совсем раскрыта душа этой чистой девушки и она может читать в ней все, до самой глубины. Тайна, интересовавшая ее, была теперь ей известна, предположение ее оказалось верно: графиня Зонненфельд умерла от безнадёжной любви и от ревности к Зине. А между тем разъяснения все же нет.

III

Напрасно ясный, спокойный и могучий разум царицы старался выяснить себе всю эту таинственную историю, напрасно силился он разделить исповедь Зины на две части: на действительность, естественную, очевидную, и на фантастичность экзальтированной девичьей души. Никак не удавалось царице совершить это разделение. И к тому же она ясно видела, что фантастичности в Зине гораздо меньше, чем можно было это предположить, – в ней только большая чувствительность, восприимчивость к впечатлениям.

А событие все же остается непостижимым, таинственным, все же приходится произнести слова, над которыми так часто смеялась царица: колдовство, чары...

Какой вздор! Да, это вздор, а между тем без этого вздора все становится еще непонятнее, еще невозможнее, и ко всему этому непонятному и невозможному присоединяется еще одно обстоятельство: каким образом сама она, Екатерина, ничего и никого не забывавшая, все помнившая и всегда действовавшая в ясной, насквозь пронизанной светом области, каким образом она забыла о существовании человека, играющего такую фатальную роль во всей этой истории? Каким образом в течение долгих месяцев она не вспомнила об этом новом князе Захарьеве-Овинове, который так заинтересовал ее, которого она хотела непременно разглядеть, расспросить, изучить?..

Он появился перед нею, остановил на себе ее внимание – и вдруг исчез, как будто его никогда не было. Проходили месяцы – и она ни разу о нем не вспомнила, а между тем ведь она должна была о нем вспомнить и должна была его видеть – он все время был, очевидно, здесь, вблизи от нее. Ей стоило только позвать его – и он бы явился, но она о нем забыла, как ни разу в жизни ни о ком не забывала. А вот теперь он является героем таинственной, так опечалившей ее истории, он причина смерти прекрасной женщины, в судьбе которой она была заинтересована, он же смутил покой этой младенческой души, которая теперь рассказывает ей свою непонятную тайну!

«Колдун! Чародей!» – мелькнуло в мыслях Екатерины, но при этих двух словах ей вспомнился другой колдун, чародей, мнимый граф Феникс, делавший, но не сделавший золото в лаборатории князя Потемкина. Ей припомнилась прелестная итальянка, чуть не смутившая покоя ее собственного сердца.

– Колдун! Чародей! – повторяла себе Екатерина и прибавляла: – Однако нет такого колдуна и чародея, которого нельзя было бы разоблачить и удалить и обессилить. Это даже гораздо легче сделать с колдуном, чем с самым обыкновенным человеком, ибо всякий колдун или чародей непременно боится таких вещей, каких не боится обыкновенный человек. Он боится правосудия, боится закона, так как знает за собою чересчур много больших и малых грешков.

Каким чародеем являлся этот мнимый граф Феникс, как одурачил он многое множество людей, вовсе даже не глупых и достойных лучшей участи, чем быть одураченными приезжим авантюристом, а между тем одно ее желание, одно ее слово – и где теперь этот человек? И где теперь эта хорошенькая итальянка?..

Так думала царица, но перед нею вместе с этими мыслями восставал во всех мельчайших подробностях вспомнившийся ей образ Захарьева-Овинова, и она не могла, не хотела глядеть на него теми же глазами, какими глядела на графа Феникса. Неужели и он такой же шарлатан и обманщик? Нет, этого не может быть.

Что-то в глубине ее мысли, в глубине ее сознания говорило ей, что теперь она имеет дело с человеком совсем иного сорта, а между тем... а между тем, что же все это значит? К чему вся эта непостижимая путаница таинственностей... и за что будет страдать этот пре-

лестный ребенок? За что этот так невероятно забытый ею человек губит живые души? Что же теперь делать? Конечно, прежде всего надо призвать этого человека и разглядеть его.

Если он погубил прекрасную графиню, если он силился зачаровать Зину, то ведь ее-то, царицу, он не зачарует.

И у царицы явилось страстное желание как можно скорее видеть Захарьева-Овинова. Появится он перед нею – и всякая таинственность исчезнет. Ведь всякая таинственность существует только издали, пока не видишь предмета. Стоит прийти в соприкосновение с ним – и таинственности конец, вступает в права действительность, и неизменные, точные, ясные законы природы начинают действовать.

Остановись на этой мысли, императрица сразу успокоилась и решила, не откладывая этого дела, как и вообще она не откладывала своих решений, увидеть Захарьева-Овинова.

Только что эта мысль созрела в голове ее, только что хотела она обратиться к Зине, с тем чтобы окончательно ее успокоить, преподать ей здравые советы и внушить уверенность, что ничего нет таинственного на свете, что все объясняется легко и просто – стоит только приложить к этому объяснению здравый рассудок, как занавес тихой комнаты шевельнулся – и перед царицей в слабом полусвете обрисовалась спокойная, бледная и прекрасная фигура Захарьева-Овинова.

Даже слабый крик вырвался из груди Екатерины, а бедная Зина прижалась к ней, пряча свою голову в ее коленях. Миг – и царица невольным движением протерла себе глаза, изумляясь своей галлюцинации. Вот она откроет глаза – и, конечно, никого нет! А между тем она открыла их... и Захарьев-Овинов по-прежнему был перед нею.

Он сделал несколько шагов вперед, почтительно, низко поклонился и произнес своим бесстрастным голосом:

– Ваше величество приказали мне явиться и пройти сюда.

Он еще раз церемониально поклонился. И в то же время его глаза остановились прямо, спокойно на глазах царицы. Она хотела говорить – и не могла. Хотела встать – и не в силах была шевельнуть ни одним членом.

IV

Однако так не могло продолжаться. Еще несколько мгновений, и Екатерина, конечно, очнулась бы от неожиданности. Она, наверно, поборолась бы в себе невольный трепет и растерянность, вызванную этим совершенно невероятным появлением. Ее сильный, холодный ум признал бы в этом появлении только очень оригинальную и редкую случайность, а затем Захарьеву-Овинову пришлось бы отдать государыне подробный и ясный отчет в его действиях.

Он должен был бы объяснить, каким это образом, не нарушая законов природы и законов приличий, он проник сюда, во внутренние царские покои. Каким образом он знал, что найдет здесь царицу? Как его не остановили по дороге? И, наконец, что означают его слова: «Ваше величество приказали мне явиться и пройти сюда»?

Ведь царица очень хорошо знала, что она не отдавала и не могла отдать такого приказа, что она сейчас только еще намеревалась пригласить его и, может быть, даже сюда, в эту комнату. Значит, в этих словах его заключалась ложь.

Он, этот мнимый чародей, этот губитель сердец и жизней, осмелился солгать ей, царице, ее мистифицировать, с ней шутить, когда она не подала ему никакого повода для подобных шуток. Иной раз она очень любила шутки, иной раз она вовсе не прочь была и от мистификации, но вовсе не в таких обстоятельствах. Да, Захарьеву-Овинову пришлось бы очень серьезно ответить за свои странные поступки.

Он отлично знал и понимал это и хотя вовсе не боялся никакой ответственности, но подобное объяснение с царицей совсем не входило в его планы. Он не желал особенно изумлять ее, а уж тем более не желал открываться перед нею. Не желал он также терять времени и любоваться произведенным им впечатлением.

Еще несколько мгновений, царица овладеет собою, и тогда ему будет предстоять, во всяком случае, нелегкая борьба, на которую потребует значительная затрата его жизненной силы. Такая затрата была излишней, не вызывалась крайней, неотвратимой потребностью, а потому в нравственном отношении была для него преступной. И он не стал терять времени.

Его блестящий взгляд изменил свое выражение, сделался пронзительным, почти страшным. Екатерина не выдержала этого взгляда. Она мгновенно как бы потеряла сознание, осталась неподвижной, с застывшим лицом, с широко раскрытыми глазами, зрачки которых внезапно расширились.

Но ведь царица была не одна. Спрятавшись головою в ее колени, трепетала Зина. Захарьев-Овинов склонился, прикоснулся рукою к голове девушки, и ее трепет исчез, и при первых звуках его голоса, говорившего ей: «Встань!» – она послушно приподняла голову с колен Екатерины, потом поднялась и, сделав несколько шагов, опустилась в кресло.

Захарьев-Овинов глядел на нее, совсем забыв об императрице. Лицо его помертвело, он даже схватился рукою за сердце – так оно у него усиленно и непривычно забилося. Но он тотчас же подавил в себе волнение. Он снова спокойно подошел к Зине и взял ее за руку.

– Можешь ли ты отвечать мне? – спросил он и услышал тихий ответ:

– Могу.

– Знаешь ли ты, что судьба приводит нас друг к другу и что мы не должны бороться против этой судьбы?

– Знаю.

Он остановился на мгновение.

«И она это знает!» – пронеслось в его мыслях.

– Ты боишься меня, – сказал он, – зачем же ты меня боишься? Неужели мы для того встретились и для того родилась невидимая, но чувствуемая и мной, и тобою связь между нами, чтобы я тебя погубил? Разве я могу погубить тебя?

И шепот Зины ему ответил: «Можешь!»

– Да, конечно, могу! – воскликнул он. – Но я не сделаю этого. Нет, ты не знаешь, ты неясно читаешь в той туманной дали, которая отверзается теперь перед тобою. Я читаю в ней яснее тебя, я давно привык читать в ней, и я говорю тебе: не на погибель сводит нас судьба, а на спасение.

Он сам не знал, что скажет это, а между тем сказал, сказал помимо себя, по вдохновению, и эти слова вырвались из самой глубины его души, из той глубины, в которую, может быть, он и не заглядывал.

– Но твой страх, твой ужас предо мною для тебя слишком мучительны, – продолжал он, все крепче и крепче сжимая руку Зины, – и ты не должна меня бояться. Ты должна доверять мне, ибо я друг твой, ибо ближе меня никого у тебя не было, нет и не будет. Я не искал тебя, а нашел – и мы с тобой связаны таким узлом, который ни ты, ни я развязать не можем, а разорвать его было бы погибельно. Я не звал тебя, а вот уже немало времени ты вблизи меня, и я не раз тебя чувствовал. Ты врвалась в жизнь мою, я отстранял тебя, я не глядел на тебя, я думал, что мне тебя не надо. Я забывал тебя, но не мог забыть с первой нашей встречи, и ты, поверх всего, не раз мелькала передо мною. Я очень страдаю, я очень несчастлив, и твоя душа – первое существо, которому я признаюсь в этом... Да, я признаюсь в моем тайном, для меня самого непонятном сострадании твоей души, с которой говорю теперь, и душа твоя, освобождаясь от материи, должна помнить о моем страдании. В это последнее время я узнал, что и ты страдаешь, и мне тяжело стало от твоего страдания, и я почувствовал, что между нами завязан крепкий узел. Ты не должна страдать, ибо, я боюсь, не вынесешь таких мучений. И вот я пришел к тебе для того, чтобы освободить тебя от страданий. За этим я здесь, за этим, не теряя ни одной минуты, забыв все и всех, я спешил к тебе и нашел тебя. Перестань же страдать! Будь спокойна! Моя душа приказывает тебе это – слышишь ли ты меня?

– Слышу.

Тогда Захарьев-Овинов отошел от нее и приблизился к царице. И ее он тоже взял за руку и стал говорить ей. Он говорил:

– Царица, поручаю тебе эту юную душу, не отвращай от нее своего сердца. Слышишь ли меня? Исполнишь ли это?

– Исполню, – прошептала Екатерина.

– А теперь я сейчас разбужу тебя, но ты забудешь все, забудешь свое изумление при моем виде, и мое присутствие здесь не покажется тебе странным. Я пришел не для тебя, а для нее, но и к тебе, к твоей силе, к твоему великому разуму влечет меня. Мне ничего не надо от твоего могущества – ты царствуешь в одной сфере, а я царствую в другой, и твою сферу, со всем твоим могуществом, я вижу с моей высоты, и она кажется мне ничтожной. Но ты царица, истинная царица, и, когда придет время, ты поднимешься в иные сферы, и в них скажется твоя царственная мощь.

Только не скоро еще настанет для тебя это время, и ни приблизить его, ни отдалить я не могу, я не хочу вмешиваться в жизнь твою! Мы можем только обмениваться мыслями, но мы чужды друг другу, ибо между нами пока – разверзтая пропасть.

Он замолчал. Еще раз он остановил взгляд свой на Зине, потом выговорил:

– Проснитесь!

Легкое движение его руки – и царица, а за нею и Зина вышли из своей неподвижности. Странное выражение их лиц исчезло. Они обе очнулись.

Захарьев-Овинов сидел перед Екатериной, а она глядела на него с благосклонной улыбкой, и ничто в ее лице не показывало ни изумления, ни неудовольствия. Перед нею был человек, которого она пожелала видеть, с которым намерена была иметь небезынтeресную для нее беседу.

V

Прошло всякое изумление, и вместе с этим изумлением забылись за несколько минут перед тем интересовавшие и смущавшие ее вопросы. Как царица в течение долгих месяцев не помышляла о князе Захарьеве-Овинове, так теперь она вдруг забыла о судьбе несчастной Елены Зонненфельд и о влиянии на эту ужасную судьбу сидевшего перед нею человека. Больше того, она забыла, что этот человек покушается на спокойствие Зины Каменевой. Она помнила только то, что он «разрешал» ей помнить. В какое негодование пришла бы она, если б могла понять это, с каким бы могучим порывом воли постаралась бы сбросить с себя это чужое, непрошеное влияние. И может быть, ей бы и удалось вернуть себе всю свою внутреннюю свободу, а Захарьеву-Овинову пришлось бы признать себя побежденным и убедиться, что существует не одна его сила и что с ним можно бороться.

Но ведь его истинная сила и заключалась в том, что он не давал возможности одуматься, он захватывал человека врасплох и все время держал его как бы в тумане, из-за которого было видно лишь то, что он «разрешал» видеть.

Таким образом, эта беседа, начавшаяся самым необычным образом, свелась к самой обыкновенной беседе. Царица расспрашивала Захарьева-Овинова об умственном движении в Западной Европе и с глубоким интересом следила за его ответами и разъяснениями. Скоро она убедилась, что перед нею человек, действительно много знающий, много думающий. Отсутствие в нем какого-либо увлечения, критический анализ, приправленный несколько насмешливым скептицизмом, – все это ей нравилось.

– Теперь вы здесь огляделись, – внезапно прервала она его, – дела ваши устроены, от Европы вы взяли все, что она могла вам дать, и всем этим вы должны послужить России. Это ваша прямая обязанность перед родиной.

– Каждый человек непременно кому-нибудь и чему-нибудь служит... – начал было Захарьев-Овинов.

Но она его перебила:

– Я говорю не о такой службе, и вы хорошо меня понимаете. Мне нужны просвещенные, разумные люди для государственной работы...

– У вас их достаточно, ваше величество, и вы обладаете драгоценнейшим даром государей – находить нужных людей в нужные минуты. Только на сей раз, останавливая на мне ваш выбор, вы обращаетесь к недостойному: я совсем не способен к практической деятельности, мои познания и занятия такого рода, что я могу только принести вред, а не пользу.

В лице Екатерины мелькнуло раздражение.

– Вы отказываетесь... Что же руководит вашим отказом? Не просто ли лень кабинетного ученого?

– Нет, не лень, – ответил он, – всякое дело только тогда может развиваться и приносить благотворные результаты, когда человек отдает ему все свои силы, проникнут сознанием пользы своей деятельности, заинтересован ею. А я, осмеливаясь прямо это высказать вашему величеству, ибо иначе говорить с вами не могу и не смею, я не способен заинтересоваться ни одним из дел, какие вы мне поручите...

– Почему же?

– Потому что мое мировоззрение, мои занятия и приобретенные познания увели меня слишком далеко от практических и государственных интересов.

– И эти интересы кажутся вам недостойными того, чтобы обратить на них внимание, – с добродушной насмешливостью перебила Екатерина.

– Далеко не так, ваше величество, и я не в такой мере заслуживаю насмешку. Я признаю большое значение за предметами даже несоизмеримо более мелкими, чем государственная

деятельность. Мир – большая стройная машина, и каждый винт и винтик в ней весьма важен, ибо без него вся машина может прийти в негодность. Машина эта правильно действует лишь в том случае, когда в ней все до мельчайших винтиков на своем месте. Зная это, я и не могу становиться не на свое место.

– Если вам угодно ограничиваться общими фразами, – заметила царица, – то, конечно, мы ни до чего не договоримся. Я сама очень люблю отвлеченные рассуждения, сама не прочь от философии, только наполнить всю жизнь одними мыслями, без дела – это и холодно, и скучно...

Она пристально на него посмотрела, так пристально, что ему на мгновение стало даже неловко.

– И я вам скажу, – продолжала она, – мне жаль вас: со всей вашей ученостью, со всем вашим пренебрежением к обычным людским интересам, вам иногда, и даже очень часто, бывает невыносимо скучно, невыносимо холодно.

– Невыносимо скучно, невыносимо холодно? – как-то неопределенно, полувопросительно повторил он ее слова.

– А мне вот и тяжело может быть порою, и тревожно, и жутко, но ни скучно, ни холодно никогда не бывает. Вы ушли от жизни живой и думаете, что стали выше ее, но это неправда! Слышите ли, это заблуждение! Жизнь и то, что может она дать человеку, сильнее всего, да, сильнее всего. Если вы считаете себя выше ее радостей, то это единственно оттого, что вы не знаете этих радостей, не испытали их. Вы находите, что быть философом и ни в чем не чувствовать потребности – выше, чем быть владыкой. Но это вам кажется только оттого, что вы никогда не были владыкой и никогда им не будете...

Екатерина начинала говорить с увлечением и не заметила, как при последних словах ее лицо Захарьева-Овинова стало вдруг мрачным.

«Она вызывает меня, – подумал он, – хочет доказать мне мое ничтожество. Я играю в ее глазах очень жалкую роль... такая роль меня не смущает... Но зачем же вдруг показалось мне что-то особенное в словах ее?.. Неужели какая-нибудь „земная“ власть, какое-нибудь земное величие может иметь для меня хоть что-либо притягательное и хоть на миг избавить мою душу от невыносимой тоски и скуки?.. Какое противоречие!»

И он уже не слышал того, что говорила теперь Екатерина. Он опустил голову, и в его застывшем лице, в его неподвижной позе сказывалось глубокое страдание. Зина, все время сидевшая молча, совсем притихнув, почти не спускавшая с него глаз, сразу же заметила происшедшую в нем перемену, прочла в его глазах страдание. Чувство жалости и тревоги охватило ее.

– Государыня! – трепетно и страстно вскричала она. – Убедите его, что он не прав, во всем, во всем... Посмотрите, как он страдает, как он несчастен!..

Но при звуках этого голоса Захарьев-Овинов очнулся от своих мыслей. Не мог же он допустить такого оборота разговора. Он явился сюда, воспользовавшись своими знаниями и умением проникать всюду, оставаясь совсем незаметным для людей, которые не должны были его видеть, только с целью отрешить Зину от ее страданий. Он остался здесь, потому что устал, потому что давно, давно ему хотелось отдохнуть, и он бессознательно почувствовал себя отдыхающим в одной атмосфере с Зиной, в ощущении ее близости. Только поэтому он и не уходил. Он и теперь еще не хотел уйти. Он взглянул на Зину, и она мгновенно замолкла, позабыв свою тревогу. Взглянул на царицу, и она не обратила внимания на слова Зины. Разговор продолжался и с личной почвы перешел в сферу общих интересов. Раздражение Екатерины прошло, теперь она снова внимательно слушала Захарьева-Овинова, и он снова вырастал в глазах ее. Он говорил о том, что в Западной Европе готовятся такие общественные бури и грозы, каких не помнит человечество.

– Вы, пожалуй, скажете, что во многом виноваты мои друзья философы с Вольтером во главе? – заметила Екатерина. – Впрочем, я очень не буду стоять за них... Я сама в них разочаровалась.

– Да, они немало работают в деле разрушения всего строя европейской жизни, – сказал Захарьев-Овинов. – Но они все же не что иное, как орудие судьбы, слагающейся из длинного ряда причин и следствий.

Скоро Захарьев-Овинов совсем увлек внимание царицы. Он кончил тем, что стал говорить как пророк и рисовал ужасающую картину бедствий, грозящих Западной Европе. Екатерина, вообще недоверчиво относившаяся ко всяким пророчествам, на этот раз невольно верила пророку.

– Надеюсь, однако, что все эти бедствия не коснутся России? – спросила она, даже с некоторой робостью ожидая ответа.

– Нет, не коснутся, ваше величество! – решительно сказал Захарьев-Овинов. – Вы слишком ясно все видите, и велика ваша сила. Вы не способны на непоправимые ошибки и всегда вовремя умеете остановиться.

Екатерина благодарно взглянула на своего собеседника. Почему-то его сдержанная похвала была ей особенно приятна.

Но время шло. Царица посмотрела на часы и протянула Захарьеву-Овинову руку. И он ушел, безмолвно простясь с Зиной, которая, по приказанию царицы, проводила его за несколько комнат. Теперь уж ничего таинственного не было в его присутствии в этих апартаментах – не он первый, не он последний выходил так от царицы.

VI

«Вы находите, что быть философом выше, чем быть владыкой, только потому, что никогда не были владыкой и никогда им не будете!» – эти слова Екатерины запечатлелись в памяти Захарьева-Овинова. Слова эти преследовали его и теперь, в тишине его рабочего кабинета. Тоска, не покидавшая его со времени смерти графини Зонненфельд, с каждым часом становилась все невыносимее, и к тоске этой все яснее и настойчивее примешивалось чувство недовольства собою, сомнения в себе.

Это было совсем новое чувство для великого розенкрейцера. До сих пор он никогда его не испытывал. Он всю жизнь только шел вперед, упорно поднимался по лестнице познаний и всегда хранил в себе, хоть и бессознательно, глубокую уверенность в том, что идет по истинному пути, что делает именно то, что ему следует делать. Быстрый и необычайный успех шел за ним по пятам, возносил его все выше, и он, сам того не замечая, начинал считать себя центром вселенной, могучим властелином природы, ее победителем. Все, что он видел вокруг себя, он почитал своим законным владением...

Но вот, выйдя из своего уединения, он столкнулся с людскою толпой, которая представлялась ему толпой пигмеев, – и сразу эта толпа дохнула на него горем и страстью, тоской и смертью. И он услышал, что горе и страсть, тоска и смерть исходят от него. И он почувствовал, несмотря на все доводы рассудка, почувствовал всем своим существом, что это так. Разве это его задача?..

Он страшно одинок, ему холодно, он задыхается... Ему говорят, что он несчастлив, и брат Николай, и Калиостро, и Зина, и царица – все сразу видят его страдание, его несчастье... Да разве он даром получил власть над природой, разве он не великий носитель знака Креста и Розы, разве он может быть недостойным своего имени? Происходит нечто непонятное и ужасное... И великий старец молчит... И насмешливые слова царицы все повторяются в памяти. Так неужели действительно его победа над природой не полна, неужели в нем остались задатки тления и его может еще, когда он отрешится от всего земного, увлечь снова этот жалкий мир преходящих форм? Но ведь царица не знала, кому она говорила о невозможности стать владыкой. Ведь он не владыка только оттого, что никакое земное владычество не может удовлетворить и хоть на мгновение увлечь владыку высшей области, истинного владыку в царстве духа...

Зачем же все повторяются и повторяются в памяти слова ее? Быть может, в них указание... Да, указание... Необходимо проверить свои силы...

Захарьев-Овинов остановился на этом решении.

Когда-то великий старец, отец розенкрейцеров, говорил ему, тогда еще готовившемуся к высшим посвящениям: «Вся жизнь, во всех своих проявлениях и формах, создана Божественной Волей. Человек как существо, созданное по образу и подобию своего Творца, заключает в себе великие задатки творческой силы, и в том случае, если его воля не противоречит Божественной Воле и гармонирует с нею, он может развить ее до громадных размеров. В таких условиях человек может создавать формы жизни. Истинный адепт обладает такою волей, которая способна создания воображения наделить объективной, действительной жизнью – насколько действительна жизнь всяких видимых форм в области материи...»

Тогда эти слова старца казались розенкрейцеру необычайными. Но с тех пор он уже убедился, что в них заключалась истина. И вот теперь, для того чтобы испытать себя и проверить, он решился воспользоваться своею силою и призвать к жизни целый мир, полный земных обольщений, действительный мир, которого он будет единственным владыкой...

Порывистым движением отпер он один из ящиков своего бюро, вынул из этого ящика маленькую шкатулку. Под давлением его пальца щелкнула невидимая пружина, крышка

шкатулки быстро отскочила. В глубине оказался небольшой граненый флакон. Великий розенкрейцер осторожно его откупорил и влил себе в рот несколько капель темной жидкости. Потом он снова закупорил флакон, поместил его в шкатулку. Опять щелкнула пружина, шкатулка заперлась. Тогда он поставил ее в ящик, запер бюро. По всей комнате от откупоренной жидкости разлилось сильное и пряное благоухание, и в то же время в самом Захаре-Овинове стали происходить быстрые изменения...

Теперь глаза его метали искры, румянец залил бледные щеки, он весь будто вырос, будто новая, могучая сила наполнила его. Еще миг – и он побледнел, пошатнулся и упал в кресло. Если бы кто-нибудь из домашних теперь его увидел, то по всем признакам почел бы за мертвого. Но был уже поздний час ночи, двери стояли на запоре, никто не мог войти к нему...

Он очнулся как бы от легкого забытья, открыл глаза – и улыбка скользнула по его лицу. Вокруг него все изменилось. Он находился не в уединенной комнате петербургского дома, а на обширной открытой веранде, украшенной дивными мраморными изваяниями и увешанной гирляндами невиданно прекрасных цветов, разносивших неведомо сладостное благоухание. Перед ним, из-за громадной арки, открывалась волшебная панорама сада, залитого теплым солнечным светом; вдали с одной стороны рисовались голубые очертания дальних гор, с другой – синело и золотилось море, сливавшееся с горизонтом.

Он приподнялся с шелковых, расшитых причудливыми золотыми узорами подушек, взглянул на себя и увидел, что и сам он преобразился. На нем вместо его обычного платья была мягкая, шелковистая и легкая, как пух, одежда, сотканная из невиданной ткани, красиво и широко драпировавшая его фигуру. На ногах – легкие золотые сандалии. Он сделал несколько шагов, чувствуя небывалую бодрость в теле, прилив жизни, энергии, веселья.

Это был не сон. Он отлично сознавал, что за минуту перед тем упал в свое кресло и закрыл глаза именно затем, чтобы «так» проснуться. Да, но зачем помнить то, что он оставил за собою, – эти воспоминания будут мешать настоящему. Он захотел забыть – и забыл все.

Он остановился посреди веранды и три раза медленно хлопнул в ладоши. Через мгновение перед ним был человек мужественного и привлекательного вида, одетый в такую же широкую и красивую одежду, как и он. Человек этот склонился перед ним с приятной и веселой улыбкой и проговорил:

– Мой повелитель, я счастлив, что вижу тебя здоровым и бодрым, надеюсь, нездоровье твое прошло.

– Друг мой, Сатор, – произнес великий розенкрейцер, – я действительно чувствую избыток сил и большую легкость всех членов. Сон подкрепил меня.

Говоря это, он уже окончательно отрешился от той действительности, которая окружала его несколько минут перед тем и представлялась ему единственно существующей! Теперь он всецело был в иной действительности и знал только ее. Человек, бывший перед ним и названный им Сатором, оказывался как бы давно ему известным, он будто провел с ним долгие годы. Он любил этого человека и считал его самым близким и преданным своим другом.

– Сегодня светлый праздничный день, – между тем говорил Сатор, – а потому надо отложить все работы и заботы. Весь твой счастливый народ предается сегодня веселью, и пиршества готовы в твоих чертогах. Мой повелитель, позволь проводить тебя в термы. Целебная ванна еще более освежит тебя, и ты предстанешь перед двором своим во всем присущем тебе царственном блеске и величии.

Великий розенкрейцер в роскошных термах. Толпа молчаливых расторопных служителей его окружает. Он в мгновение раздет и погружается в теплую благоуханную влагу, которая бурлит и пенится вокруг его тела, с каждой новой секундой усиливая в нем самые сладостные, неизъяснимые ощущения. Но пора выйти из этой чудной ванны. Десяток про-

ворных рук растирают его бархатистыми тканями, возбуждая во всех членах живительную теплоту и бодрость, потом облачают его в новые одежды и удаляются с глубокими поклонами.

Он один – и на мгновение остается недвижимым, наслаждаясь никогда не изведанной свежестью и бодростью духа и тела. Жизнь бьет в нем ключом, и стремление к радостям и веселью его охватывает. Едва касаясь мозаичного пола подошвами золотых сандалий, он стремится теперь вперед через анфиладу позлащенных солнцем чертогов – и вот он перед громадной террасой, наполненной бесчисленной толпой народа.

При его появлении вся эта толпа как бы замирает, но миг – и неудержимые восторженные клики приветствуют владыку. Неведомо откуда раздаются звуки сладостной музыки, гармонично выражающей его душевное настроение. Он величественно и благосклонно кланяется на все стороны, не различая, не видя отдельных лиц. Все эти лица сливаются для него в одно громадное существо, которым он владеет и которое боготворит его.

Сатор подводит к нему некоторых избранных, и он небрежно прислушивается к словам робкого, восторженного почтения.

Звуки музыки все сладостнее, и теперь к ним примешивается стройное пение. Благоуханная теплота разлита в воздухе, вокруг – жужжание толпы, впереди – за беломраморной колоннадой, из-за тропической растительности сада, мелькают горы, синее море. Но теперь великого розенкрейцера манит новое наслаждение, он замечает сверкающие золотом и хрусталем столы, полные удивительных яств и напитков. Он подает рукою знак – и вот он за столом, и все, что только воображение человеческое могло придумать для удовлетворения вкуса, предложено ему расторопными слугами. Однако аппетит его удовлетворен, кубок живительной влаги огнем пробежал по жилам, и он бросает взор по сторонам. Рядом с ним Сатор, но кто же с другой его стороны чье присутствие он вдруг почувствовал всем существом своим? Рядом с ним женщина – воплощение юности и грации, и он видит, что вся красота этих чертогов, этой лучезарной природы – ничто в сравнении с красотой ее. И ее красота не прячется, не скрывается за ревнивые ткани нарядов. Наряд ее прост и не скрывает ее прелестей.

Неудержимое влечение к этому прекрасному созданию, кипучая страсть наполняют великого розенкрейцера. Он сознает, что готов сейчас отдать все, весь мир за нее одну и что с нею самая мрачная темница станет раем, а без нее даже и блеск солнца померкнет. И он жадно отдается своим ощущениям. Где-то в глубине его сознания бледно мелькает другой образ, напоминающий ему, что эта страсть уже не в первый раз в его сердце. Да, но то была страсть неудовлетворенная, побеждаемая, подавленная. Теперь же она торжествует.

Он не отрываясь глядел на свою соседку. Ее глаза полуопущены, но из-под длинных ресниц он чувствует мерцание ее взгляда. Вот она обернулась к нему, и ее мелодический голос произнес:

– Мой повелитель, за что ты сердит на меня, так сердит, что до сих пор не сказал мне ни одного слова?

– Я люблюсь тобою, Сильвия, – ответил он, – и мой взгляд должен и без слов сказать тебе очень многое.

Она улыбнулась. О, эта улыбка! Он почувствовал ее прикосновение, легкое, мгновенное пожатие руки – и едва удержался, чтобы не обнять ее, чтоб не покрыть ее всю ненасытными поцелуями, забывая, что они не одни, что взгляды тысячной толпы устремлены на них...

Потом, после пира, когда солнце зашло за горы, когда на потемневшем небе высыпали звезды и благоуханная прохлада разлилась повсюду, в таинственных волшебных аллеях был праздник. Великий розенкрейцер не покидал Сильвию, и она шептала ему речи страсти,

безумные клятвы, наивные признания. И он был счастлив. Потом наступила ночь, еще более таинственная, еще более волшебная...

VII

Время стало проходить, и прошло его немало. Да, немало, ибо истинное исчисление времени в человеческой жизни происходит не минутами, часами и днями, а получаемыми впечатлениями. Недаром говорится о человеке, сразу пережившем внутреннюю грозу и бурю, огромное горе или счастье, что в день один пережил многие годы. В этом выражении нет ничего фантастического и преувеличенного. Взгляните на подобного человека повнимательнее, и вы увидите в нем такую внешнюю и внутреннюю перемену, которая может быть результатом только очень долгого времени.

Так и великий розенкрейцер, находясь вне времени, исчисляемого часовой стрелкой, прожил много. Сначала он был как в чаду, жадно воспринимая неведомые ему впечатления, опьяняясь ими и даже не имея возможности хоть на мгновение заглянуть вглубь себя и сказать себе: «Я счастлив!» Но уже эта самая невозможность самоуглубления, отсутствие внутренних вопросов и стремлений показывали, что он весь – в настоящем и это настоящее его удовлетворяет. А такое состояние и есть единственное «земное» счастье.

Однако оно было непродолжительно. Оно стало удаляться незаметно, но быстро. Началось с того, что притупилось «чувство удивления» перед всеми этими неслыханными красотами природы и искусства, перед сказочным блеском и роскошью, перед поклонением толпы и сознанием своего могущества. Затем явилась «привычка» ко всему этому. Еще шаг – и вследствие привычки созрело «равнодушие»; изумительный праздник красоты, блеска и могущества превратился в будни, в самые монотонные будни.

Великий розенкрейцер уже не замечал теперь сказочного великолепия своих чертогов и даже позабыл свои первоначальные впечатления. Он подолгу работал с Сатором и другими своими приближенными, но мало-помалу, сам того не замечая, отказывался от собственной инициативы в этой работе. Дела, относившиеся до блага бесчисленного народа, которым управлял он, как-то мало находили отголоска в его сердце. Он доволен был, слыша уверения Сатора, что люди благоденствуют, что все благополучно. Он доверял Сатору и тем, к кому Сатор относился благосклонно. Он удалял от себя тех, кого Сатор находил недостойными высокого положения и доверия властелина. Он находился в твердой уверенности, что Сатор – надежный и верный друг, человек большой мудрости в делах управления, что он не способен ошибаться ни в решении дел, ни в людях. Поэтому ему даже в голову не приходило искать новых людей и подвергать действия и решения Сатора критике и проверке.

Когда занятия утомляли и в то же время не удовлетворяли, так как эта деятельность не была его призванием, он искал телесного отдыха и наслаждений. Он спешил в термы и погружался в kloкочущую влагу целебного источника. Эта ванна хоть и освежала его, но ее действие было почти неощутимо, и он уже не мог вызвать в себе прежних необычайно сладостных впечатлений...

Долее всего прожила его страсть к Сильвии. Но вот даже и чувство его к красавице притупилось. То, что было его блаженством, тоже обратилось в привычку и уже не удовлетворяло его жажды новых, неизведанных впечатлений.

Он познал, что такое неудовлетворенность, скука. И в то же время в нем начал пробуждаться иной человек, или, вернее, к нему возвращались все его свойства, знания и силы. Туман спадал с его глаз. Он снова ощутил за собою и перед собою вечность. Его мудрость наконец вернулась и показала ему истину.

И он увидел, что окружен обманом и фальшью. Он увидел, что его друг, всемогущий Сатор, вовсе не мудрец, а опытный царедворец, бессовестно пользующийся своим положением, отстраняющий всеми способами, даже и грубой клеветой, всякого свежего и само-

стоятельного человека, и поэтому творящий ряд несправедливостей и ошибок. И все эти несправедливости, все эти ошибки падают на властителя.

Вслед за разочарованием в Саторе и других приближенных его ждало разочарование в красавице Сильвии...

Была дивная, душистая ночь, и аллеи волшебного сада озарялись полной луною. Эта ночь манила к счастью, к поэтическим мечтам, к возвышенным и плодотворным мыслям. Но мрачно и тоскливо было в душе великого розенкрейцера. Он покинул свое ложе и, будто бледный призрак, прошел ряд безмолвных чертогов. Его тень скользила по широким ступеням террасы. Он в саду среди благоуханной тишины, под грустными ветвями могучих поместранцев. Он сидит неподвижно, склонив голову и будто прислушиваясь к душевному голосу, который тоскливо и страстно ему плачется: «Не держи меня в неволе, выпусти из неволи, дай расправить ослабевшие крылья!...»

Но вот другой тихий голос достигает его слуха. Он вздрогнул, затаил дыхание, прислушивается...

– К чему твои сомнения, – шепчет знакомый нежный голос, близко шепчет, в душистой беседке, со всех сторон закрытой невиданными причудливыми цветами, – к чему твои сомнения, они только портят и сокращают эти быстротечные минуты счастья!

– Но я не могу избавиться от этих сомнений, – отвечает другой, незнакомый, голос, – я жадно, с мучением слежу за тобою, за каждым твоим шагом, движением, взглядом... И когда я вижу, что ты улыбаешься властелину и нежно на него смотришь, – мое сердце разрывается, и я едва в силах удержать крик отчаянья и ненависти к этому человеку... Страшное сомнение закрадывается мне в душу и шепчет: «Она его любит!...»

– Если бы я любила его, разве ты мог бы ко мне приблизиться, разве ты был бы со мною теперь в этой беседке? Если я здесь, значит, люблю тебя...

– Но ведь ты любила его?

– Никогда я не любила его... Отказываться от его любви было бы безумием, да и невозможно это: он властелин, одно его слово – и о сопротивлении нечего думать... или исполнении его воли, или гибель. Сатор сказал мне это, а Сатор беспощаден...

– Да, но загляни хорошенько в свое сердце... Ведь он – властелин, в нем власть и сила, несокрушимое могущество, и все это – его обаяние. Женское сердце склоняется перед силой и боготворит ее.

– Может быть, может быть, и я полюбила бы его за могущество и преклонилась бы перед ним, только для этого надо было одно: чтоб он не полюбил меня. Да, тогда бы, если б он не замечал меня, а, заметив, остался бы ко мне равнодушен, может быть, я и увлеклась бы им, может быть, я и добивалась бы его любви и в этой борьбе сама опалила бы свое сердце. Но он полюбил меня, и я сразу увидела, как он трепещет и млеет от моего взгляда, от моего прикосновения... Где же его сила? Где же его могущество? Он не властелин для меня, а раб мой... А я раба любить не могу. Я презираю его, он мне жалок, смешон... Я должна выносить любовь его... но и в его объятиях я все же всегда с тобою, мой милый, мой ненаглядный, и от него я спешу к тебе, чтобы ты скорее согрел меня, чтобы ты стер своими сладкими поцелуями его ненавистные поцелуи...

Властитель не хотел больше слушать. На мгновение сильно забилося его сердце, и он растерялся от неожиданности и грубости этого обмана. Но он сейчас же и понял, что обман этот возбуждает в нем не горе, не обиду, а только глубокое отвращение. Да разве сам он любил ее? Разве сам он не начал отрезвляться от своей животной страсти, от грубого поклонения материальной красоте? Любовь! Разве это любовь? Он не знает, что такое любовь, и не знает, где искать и где найти ее... Стыд поднялся в нем, и пусто и тоскливо стало в его сердце.

Он медленно приблизился к беседке; он уже хотел распахнуть благоухающие ветви и сказать: «Прочь, скорее прочь с глаз моих, прочь из моего волшебного сада!» Но он не коснулся душистых ветвей, не произнес ни слова и поспешно удалился. Снова тень его мелькнула на широких мраморных ступенях террасы.

Он оглядел этот сад, утопавший в лунном блеске, эти далекие, бледные горы, море, колоннады и портики своих чертогов и перенес взгляд выше, к темному небу, усеянному мириадами звезд, трепетавших в загадочном мерцании. И беспредельность охватила его.

«Зачем их гнать отсюда? – думал он. – Они у себя, они такая же часть этой земли, как цветы и деревья, как вода и камни... Они у себя, а я – пришелец в этом мире временных форм, на мгновение остановившихся призраков. Я искал здесь то, чего не мог найти, и должен уйти отсюда!»

Все выше и выше поднимался взгляд его. Душа напрягала последние усилия...

Он открыл глаза, поднялся с кресла, и глубокий вздох, вздох освобождения вырвался из груди его. Свечи догорали на столе, бледное зимнее утро заглядывало в окна...

VIII

Рано утром во двор Захарьева-Овинова въехали несколько нагруженных подвод. В этом обстоятельстве не было ровно ничего удивительного, так как время от времени именно такие подводы приходили то из одной, то из другой княжеской вотчины и привозили всевозможные сельские продукты как для домашнего продовольствия, так и на продажу. Но на этот раз оказалось нечто, не совсем обыкновенное: на одной из подвод между огромными кулями, прикрытая со всех сторон ими, оказалась женщина.

Мужики-возчики, остановясь во дворе, на своем обычном месте, окружили эту подводу, стащили с нее куль и таким образом дали женщине возможность слезть с подводы.

На первый взгляд это была крестьянка, но, очевидно, из очень зажиточных. Она была закутана в длинный суконный шушун и с ярким персидским платком, обвязывавшим ее голову так, что из всего лица были видны только глаза. Когда она слезла с подводы, то во всех ее движениях совсем не оказалось робости, присущей крестьянкам, приехавшим из деревенской глуши в петербургский княжеский дом. Она спустила с лица платок, освободила рот и довольно повелительно крикнула одному из мужиков:

– Пахомка! Ступай-ка ты, да оповести кого след о том, что я приехала. Куда идти, не знаю, а не на дворе же мне стоять, и так за ночь вся как есть переязбла. Коли поп тут, так ты его тащи с собою.

– Сейчас, матушка, сейчас! – отозвался весьма охотно и с некоторым подобострастием Пахомка. – Вестимо, чего тебе среди двора оставаться, мигом батюшку отца Николая доставлю.

Пахомка, передернув плечами, маленькой рысцою в своих огромных лаптях побежал к одной из домовых пристроек.

Теперь можно было поближе разглядеть приехавшую женщину. Большая, плотная, еще молодая, лет тридцати с небольшим, она производила очень выгодное впечатление. У нее были бойкие черные глаза, крупный, неопределенной формы, но вовсе не дурной русский нос и сочные, полные губы, из-за которых при каждом ее слове так и сверкали белые зубы. Очевидно, это лицо в хорошие минуты могло быть и очень веселым, и очень приятным, но теперь матушка находилась в раздраженном состоянии, что, конечно, объяснялось долгим путем и значительной усталостью.

Мужики возились вокруг подвод. Вот из одного строения показалось несколько дворовых, со всех ног бежавших к подводам. Просторный двор княжеского дома оживился.

Через несколько минут в доме уже знали, кто такая приезжая. К ней с любопытством подходили и почтительно ей кланялись.

– А батюшки-то дома нету! – вдруг сказал кто-то.

– Как нету! – воскликнула приехавшая. – Куда же это он в такую рань?

Несколько человек усмехнулись.

– Что за рань! Для батюшки отца Николая рани не бывает, что день, что ночь – для него едино. Коли не у службы Божией, так по больным ходит. Больных-то ныне, с самого лета, ох как много по Питеру. Ну вот его и зовут.

– Он-то тут при чем? – в недоумении воскликнула приезжая. – Что ж это, в Питере своих попов нет, что ли?

Тот из дворовых, к которому она обратилась с этими словами, почесал у себя в затылке и недоуменно поглядел на нее.

– Своих-то попов, питерских, немало, и у каждого из них свои дела есть: на всех треб хватит. А батюшка-то, отец Николай, разве он...

– Что?... Разве он что?

– Он не для треб, а для целения души и тела. Сколько народу за него тепереча молится! Не человек он – ангел!.. Угодник Божий.

– Это кто же такой угодник Божий? – насмешливо спросила матушка, но тут же и замолчала, увидя произведенное этими ее словами полное недоумение.

В это время перед ней очутился княжеский дворецкий, важного вида человек. Матушка даже смутилась, его увидя и не зная, за кого принять его. Вид у него царственный, на плечах накинута шуба лисья, а из-под шубы кафтан выплядывает, весь золотом шитый. Матушка почтительно, по-русски, по-деревенски, поклонилась. Дворецкий ответил ей таким же почтительным поклоном и густым басом произнес:

– Так это ты, матушка, отца Николая супруга?

– Я, а то кем же мне быть? – несколько оторопев, произнесла молодая женщина.

– А в таком разе, пожалуй, сударыня матушка, я тебя в покойчик батюшки и проведу. самого его нету, да у заутрени я его видел, и он мне сказал, что скоро будет; к одному только больному, тут недалеко, хотел зайти. Он беспрерывно скоро будет. Пожалуй, матушка, за мною.

Приезжая, очевидно подавляемая совсем неожиданными и новыми мыслями, последовала за дворецким.

Он проводил ее в княжеский дом с заднего хода. И вот она в чистой и по-барски убранной комнате. На полу разостлан мягкий ковер, всюду наставлены большие кресла; в правом углу богатый киот с образами.

Она остановилась, смущенная.

«Неужто это моего попа тут так ублажают, – невольно мелькнуло у нее в голове. – То-то он и застрял! Как не сбежать в такие палаты! Да не может то быть?..»

Но последнее сомнение тотчас же исчезло. Из растворенной двери в следующую комнату она увидела брошенную на кресло знакомую ей деревенскую рясу отца Николая, да притом и в этой богатой комнате, где она стояла, на нее так и пахло тем неуловимым запахом, да и не запахом, а чем-то совсем неосознаваемым, но хорошо знакомым ей и указывавшим яснее всего на то, что здесь именно, в этих богатых покоях, живет не кто иной, как отец Николай.

– Чай, иззябли в дороге, матушка, да и проголодались? Я сейчас сбитню горяченького прикажу приготовить и пришлю тебе закусить.

Проговорив эти слова, дворецкий с поклоном вышел.

Приезжая, совсем растерявшаяся и как-то притихшая, продолжала стоять посреди комнаты и медленно развязывала платок на голове. Вот она сняла этот платок, потом сняла свой длинный шушун из грубого сукна на заячьем меху и долгое время не знала, куда все это девать, так ей казалось неподходящим положить свои деревенские вещи на барские, крытые бархатом кресла. Наконец она решилась и осторожно сложила на самое дальнее кресло, в уголку, сложила да и присела тут же, опустив руки вдоль колен, как это всегда делают женщины из русского народа, погруженные в задумчивость. Она невольно сравнивала свои обычные, еще так недавно покинутые впечатления с тем, что ее теперь окружало.

Она выросла в глухой деревне, в среде, почти ничем не отличавшейся от крестьянской. Домик ее отца, в котором она и теперь жила с мужем, немногим разнился от крестьянской избы. Но она хорошо знала, что есть люди, которые живут совсем иначе. Она с детства, время от времени пользуясь каждой возможностью, забиралась в давно покинутый барский дом, где тщательно сохранялась княжеская обстановка времен царицы Анны.

Робко, с замирающим сердцем бродила она по обширным покоям, казавшимся ей особенно обширными после домашней деревенской тесноты. Она разглядывала каждую вещь. иной раз вовсе не имевшую в себе ровно ничего замечательного, сделанную грубо, аляпо-

вато, но казавшуюся ей чудодейственной, – и бессознательная тоска и зависть наполняли ее, и каждый раз, возвращаясь из барского дома к себе, она вздыхала.

Это стремление к той жизни, для которой она не была предназначена, было в ней врожденное, инстинктивное. Но время шло, и детские мечтания исчезали, жизнь вступала в свои права. Бродить по барскому дому, отдаваться чувству тоски и зависти было теперь некогда: мать померла, отец дряхлел, все хозяйство было на ее руках. На подмогу ей оказывался всего один работник, тоже старик, совсем почти глухой и плохо видевший одним глазом.

Покойная ее мать была отличной хозяйкой и держала поповский домик с огородом в большой исправности, и дочка вышла хорошей хозяйкой и работницей. Время шло быстро, она уже заневестилась. Из Киева явился Николай.

Когда ей старик отец объявил, что это ее жених, она ничего не возразила, вышла замуж без всяких рассуждений, без всякой борьбы с собою. Все это было в порядке вещей, иначе и не могло с ней случиться, слава Богу, что жених-то не противен, а напротив, он даже заинтересовал ее. В конце концов, как бы то ни было, он не деревенщина, рос с княжеским сыном, потом учился в Киеве, немало чего навидался, иной раз станет рассказывать – интересно выходит. Правда, есть в нем что-то странное, не такой он, как другие люди молодые, каких она встречала, а и то сказать – встречала-то она немногих, так что судить точно и не могла. Но с первых же дней своей семейной жизни она увидела, что между нею и ее мужем что-то не совсем ладно: до свадьбы были чужими, а после свадьбы еще больше чужими стали, ровно и не понимают друг друга. Что же, он так умен, а она так глупа? Ничуть себя она глупой не считает, хотя и выросла в деревне, а не такова совсем, как деревенские бабы, – и читать, и писать умеет, отец всему выучил. Книг немало прочла, да и от природы Бог разумом не обидел...

Неведомо куда привели бы теперь матушку ее мысли, да думать-то оказалось некогда: проворный и ласковый человек с поклонами и поздравлениями со счастливым приездом внес в комнату сбитень медовый в большом медном сосуде с ручкой, наподобие чайника. Он накрыл стол чистою белою скатертью, потом уставил его всяким съестным, весьма заманчивым особенно после дальней дороги и недостаточной грубой пищи.

Приезжая сразу покончила со всеми своими мыслями, со всеми волновавшими ее чувствами и принялась кушать и пить с большим аппетитом, даже с наслаждением.

Во время этого ее занятия снова отворилась дверь и в комнату вошел сам отец Николай. Он, вероятно, прошел по двору, как всегда это делал, очень быстро, во всяком случае, его прихода никто не заметил и никто не успел сообщить ему о приезде его жены. При виде ее среди комнаты, за завтраком, он в первое мгновение вздрогнул. Светлое его лицо как бы омрачилось, но это только был один миг, – и снова ясное спокойствие разлилось по всем его чертам.

– Настасья Селиверстовна! Приехала! Вот нежданно-негаданно! – вскричал он, подходя к жене. – Все ли благополучно? В добром ли здравии? Ну, мать, с приездом! Облобызаемся.

Все это он проговорил так быстро, его движения были так порывисты, что матушка едва успела проглотить положенный в рот кусок и сама не заметила, как трижды, по обычаю, облобызалась с мужем или, вернее, трижды его губы беззвучно приложились к ее круглым горячим щекам.

Затем отец Николай придвинул себе стул, сел рядом с нею и глядел на нее светлым, почти радостным взглядом. Глаза его, как прозрачные голубые камни, в которых отражалось солнце, так и светились, так и искрились. Но именно это сияющее выражение его лица, именно этот поразительно ясный свет, излившийся из его глаз, произвели самое раздражающее действие на матушку.

То, что она подавила было в себе, о чем перестала думать в теплоте, богатстве и новизне этой обстановки, но с чем она ехала сюда и чем была полна, въезжая на княжеский двор, теперь сразу заполонило ее.

– Чего ж ты ухмыляешься, поп? – вскричала она страстным голосом. – Рад, вишь, жена приехала. Лиси перед кем хочешь, обманывай кого знаешь, а меня не обманешь. Чай, у тебя кошки на сердце скребутся. Не ждал, думал: где ей, глупой бабе, не надумается. А вот и надумалась – взяла, да и тут! И никоим манером ты меня отсюда не выживешь, ты тут – и я тут, потому ты мне муж, а я тебе жена.

– Матушка, да я вовсе и не желаю выживать тебя. Бог с тобой! Здорова ты – ну, вот я и доволен, а что приехала ты, так это напрасно.

– Ну вот! Ну вот, совсем, небось, от меня хотел избавиться, ан нет, ан вот же тебе!.. Ты здесь – и я здесь! – с деревенской ухваткой, сверкнув глазами и раздувая ноздри, крикнула матушка.

Отец Николай качнул головою и чуть слышно вздохнул, а она между тем продолжала:

– А ты вот что мне скажи, поп, кто ты таков теперь стал? Как тебя величать надо? Жил ты, был знаменский поп Микола, ну а нынче-то кто же? В бояре, что ли, попал? Или архиереем при живой жене сделался? Кто ты таков? Чего ты так барствуешь, покажись-ка, покажись. Батюшки мои, ряса-то, ряса!

Она оглядывала и ощупывала его шелковую синюю рясу, которую недавно ему подарил старый князь.

– И тебе это не совестно – в таких шелках-то? Ведь это что ж такое? Жена вон, деревенщина, в затрапезье ходит, а он, поди ты, в шелках каких!

Отец Николай тоже осматривал теперь свою рясу.

– Красива, – сказал он, – и на ощупь приятно, это мне наш болящий князь онамеднись подарил и приказал носить, так мне как же не носить-то?

– А ты бы ему, князю-то болящему, – перебила матушка, – и сказал бы: на что мне, мол, князь али там сиятельство ваше, такая ряса. Не пристало мне, деревенскому попу, в шелках ходить, а вот, коли милость ваша будет, этот самый шелк жене бы на платье для праздника.

– Вот это точно. Не догадался, матушка, прости, не догадался, – разводя руками, сказал отец Николай. – А и то сказать, кабы и догадался, так не стал бы таких слов говорить князю – не мое это совсем дело.

Матушка махнула рукою, поднялась из-за стола и прошла по комнате.

– Да что тут с тобой толковать, – мрачно произнесла она, – а вот ты мне скажи: домой-то, в деревню-то, ты думаешь когда быть? Али совсем здесь уж останешься? Ведь, ты подумай только, сколько времени прошло, как ты сбежал-то тогда! Тебя так многие, чай, по нашим местам в бегах и считают!

Отец Николай сидел задумавшись.

– Да ведь Семен Петрович священствует? – наконец спросил он. – Ведь прихожанам никакого от моего отсутствия нет убытка...

Матушка, очевидно, не могла равнодушно выносить ни слов его, ни его спокойного тона.

– Ну что же такое, что поп Семен! Он Знаменской церкви иерей поставленный или ты? При деле ты или без дела? Жена я тебе или нет? Вот ты мне на что, ответь? Два раза наши подводы сюда ходили, писала я тебе, что же ты мне не отвечал?

– Как, матушка, не отвечал, – изумленно перебил ее отец Николай, – оба раза я тебе отвечал.

– Да что ты мне отвечал-то? Жив, мол, и здоров, чего и тебе желаю, – вот и весь ответ твой был.

– А ответ был таков потому, что нечего другого было мне сказать тебе. Коли было бы что, я бы и сказал, коли бы знал, когда вернусь, то я бы и отписал, а вот как тогда, так и теперь не знаю ни срока, ничего не знаю, все во власти Божией! Есть у меня здесь дело, я и живу, не будет дела – домой поеду, там, может, тоже дело найдется. Не могу я отсюда выехать.

– Да почему же не можешь? Упрямая ты, несуразная голова!

Но отец Николай молчал, и она, глядя на него, знала, что он так ей ничего и не ответит, и уже она привыкла к этому его особенному в иные минуты молчанию. Но это-то молчание всего более и раздражало ее, и теперь она уже каким-то почти шипящим голосом заговорила:

– Да и я-то, дура, что хочу от тебя чего-нибудь добиться! Аспид ты, мучитель мой, и ничего больше! Ну и молчи! Мне слов твоих не надо. Дойду и до самого князя. Нынче дойду, беспрерывно, затем и приехала. Расскажу ему все как на духу, скажу ему, каков ты есть изверг... Он, небось, тебя за святого считает, обошел ты его своими лисьими речами, а вот увидим еще, как это князь на твои настоящие поступки посмотрит, что ты с женой делаешь, как ты ее одну оставляешь! Хоть с голоду помирай, тебе нет дела... Да и не к князю, к владыке пойду... ко всем вельможам пойду, не могу больше терпеть от тебя, довольно! Натерпелась... не один год... Всю молодость мою ты загубил!

Сначала отец Николай при каждом ее слове вздрагивал, когда ее слова больно в нем отзывались, но вот он сделал над собою усилие, губы его зашептали что-то, и мгновенно он перестал слышать слова жены, он ушел всецело в иной мир, в иную область мыслей и ощущений.

Матушка волновалась все больше и больше. Она была в таком состоянии, что ей, очевидно, необходимо было наговориться досыта, излить всю свою душу, высказать перед мужем все, что накипело в ней за эти месяцы его отсутствия. Она осыпала его целым градом упреков и насмешек, не задумываясь над словами, но он ничего не слышал.

Он спокойно глядел перед собою светлыми сиявшими глазами и не видел ни ее, ни этой комнаты, видел совсем иное, и она, наконец взглянув на него, поняла это.

Она поняла, что все ее красноречие пропало даром. Отчаяние, злоба и раздражение охватили ее, еще миг – и она, кажется, кинулась бы на мужа с кулаками, но ей, по счастью, пришло в голову, что все же она в княжеском доме; она побежала в соседнюю комнату и там громко зарыдала.

IX

Отец Николай расслышал это рыдание. Он встал, быстро направился к жене, увидел ее сидящую в кресле, с лицом, закрытым руками, и склонился над нею.

– Настя! Настя! – тихо и ласково произнес он, касаясь рукою ее головы. – Ну, чего ты? Чего? Зачем плачешь? – успокаивал он ее и опять погладил по голове.

Она уже ощутила это прикосновение, от которого повеяло на нее чем-то теплым, успокоительным, отрадным. Ей стоило только отдаться этому первому ощущению – и тишина и спокойствие наполнили бы ее душу, она внутренне прозрела бы и увидала бы все совсем в ином свете, но никогда, ни разу в подобные минуты не могла она отдаться этому спасительному ощущению – сила противления была в ней велика. Каждый раз вся ее душа возмущалась против мужа. Она и теперь порывисто подняла голову и отстранила от себя его ласкающую руку.

– Ну, чего ты? Что я тебе далась, малый ребенок, что ли, или дура? – гневно сверкнув глазами, крикнула она. – Чего ты меня по голове гладишь, ровно кошку или собаку какую? Сам истерзал человека, жизнь погубил всю и думает – скажет: «Настя, Настя», а я так хвостом и завиляю. Я тебе не зверь, а человек, жена твоя законная, так ты меня уважать должен, заботиться обо мне, а не губить.

– Настя, Христа ради, не говори ты таких напрасных слов, ведь ими ничему не поможешь, и от них тебе только станет хуже. Возьми лучше в толк да разум, коли можешь, и скажи мне, чего тебе от меня надо? В чем я перед тобою повинен? Бог видит: все, что могу, я готов сделать, скажи только...

– О душегубец! – проскрежетала Настасья Селиверстовна, заламывая руки. – Ну есть ли какой способ выслушивать эти лстивые слова от такого человека? Ведь знает, знает, что меня-то уж своим лживым смирением провести не может, и все ж таки донимает... Да закричи ты на меня! Бей ты меня! Покажись ты, как есть, все же легче тогда будет, поговорю я с тобой как следует. Ну, чего ты тянешь всю душу? Чего ты юродивым представляешься? Чего, вишь, я хочу! В чем он, вишь, виноват? Да вот скажи ты мне, коли есть в тебе душа человеческая, скажи мне правду наконец, зачем ты на мне женился? Зачем тебе понадобилось всю жизнь терзать меня? Ну, говори! Только не молчи – говори, хоть раз в жизни говори мне правду.

Он опустил голову:

– Жена, я никогда не лгал тебе, только во многих случаях молчу, ибо молчание лучше слов напрасных.

– Знаю я твое молчание! Ну, теперь не молчи, говори, говори мне: зачем ты на мне женился?

– На иной вопрос не легко сразу ответить, Настя. Вот ты мне и теперь такой вопрос задаешь... Я сам себе его никогда не задавал, и он для меня внове, но, коли хочешь, отвечу тебе на него, да и себе сразу отвечу. Зачем, говоришь, я на тебе женился? Видно, так нужно было. Сама знаешь, отец мой был иереем и дед тоже; сам я от детских лет любил пуще всего в мире молитву, храм Божий, да и потом, возрастая, учился Писанию, истории церковной, богословским наукам, и знал я, тогда же знал, что нет и не может у меня быть иного призвания, как священство. Так вот я и готовился, по примеру отца и деда, в священнослужители. Только было у меня время сомнений, разбирал я в себе, достоин ли я такого высокого служения... проверял себя... Ах, Настя, ты напрасно думаешь, что легко быть священником, что легко подъять на себя такую обязанность! Ведь ежели человек недостойн, ежели человек с нечистым сердцем совершает великие Господни таинства, то ведь эти таинства сожгут его невидимым огнем, сожгут – и навеки! Ведь ежели он в душе своей не верит в те слова, какие

произносит в церкви, если он хоть на малое мгновение усомнится в том, что совершает, – он погубит свою душу, ибо ложь перед алтарем Господним такой грех, после которого человеку не подняться! Вот когда я все это понял, я и усомнился. Долго молился, долго разбирался в душе своей, наконец решил с трепетом, но с надеждой на Бога, на Его милосердие, на Его поддержку... и когда я решил, то я многое понял. Я понял, что мне нужно для того, чтобы быть священником.

Настасья Селиверстовна сидела теперь молча, с широко раскрытыми глазами и вслушивалась в слова мужа. Так с нею он доселе еще никогда не говорил, и вообще на этот раз сам он ей казался как-то чуден. Слова его были до того необычны, что на короткое время улеглось в ней ее раздражение – и она слушала. Он продолжал:

– Кончив одним из лучших в училище, я был призван начальством, и было мне предложено священническое место в Киеве.

– Ну да, я знаю это, – перебила Настасья Селиверстовна, – отчего же ты не взял этого места? Был бы, поди уж, и протопопом, да и для меня нашелся бы другой человек, с которым, быть может, жилось бы лучше.

– Я было сначала от места-то не отказывался, – продолжал отец Николай, – да только вдруг потянуло меня на родину. Меж товарищами моими был один человек хороший, и ему сильно хотелось занять то место, которое мне предлагали. Он давно уже на то место рассчитывал, я про то не знал, а вот как было оно мне назначено да стало то известно между товарищами, он мне и сказал, а я и обрадовался, пришел да и говорю начальству: «В село родное хочется» – да и князю о том написал. Князь прислал свое согласие, начальство было меня отговаривать стало: «Пропадешь ты там, говорят, в глуши. Пусть, говорят, по деревням те идут, кто ни аза не знает, а ты не на то учился». Я смолчал, потому нас так приучили – молчать перед начальством, а сказать хотелось, что куда же идти тому, кто что-нибудь смыслит, как не в народ темный. Да не в том дело. Вот я и решил да и поехал, ну а потом сама знаешь: как же я мог на тебе не жениться – ведь иначе меня в иереи не посвятили бы, да и прихода Знаменского не мог бы я получить, потому твой отец священствовал и только твой муж мог быть на этом месте – сама это все знаешь!

– Да я-то тут при чем? Я-то тут в чем виновата? – снова приходя в раздражение и наступая на мужа, заговорила матушка. – Коли я тебе была так ненавистна, ты бы и ушел, ну я не знаю что... ну поехал бы в Москву. Князь тебе бы все устроил – ты ведь хоть и не с той стороны, а родней ему приходишься... свой... я-то тут при чем? За что ты меня погубил, вот что ты скажи?

– Ах, опять ты эти слова! – сказал, вздыхая, отец Николай. – Конечно, коли бы я знал, что в этом чья-нибудь погибель, я бы и не показывался в нашу деревню, да разве мог я тогда знать это? Разве я тогда знал это? – возвысил он вдруг голос и блеснул своими светлыми глазами. – Когда я и теперь этого не знаю! Когда я и теперь... и теперь, более чем когда-либо, думаю, что не погибель наша была в этом браке, а скорей спасение!

Настасья Селиверстовна злобно засмеялась.

– Ну, поп, опять блаженным прикидываешься либо и впрямь спятил! Хорошо нашел спасение! Я не по тебе, ты не по мне, уж чего же тут! Да только-то вот, видишь ли, что от меня ты дурного никогда ничего не видывал. Я баба работающая. Кабы не я, так ты бы в деревне голодом сидел. Во всю жизнь никакого непотребства у меня и в голове не было, а ты... ты?

– Ну что же я? – спокойно сказал отец Николай.

Но она не могла договорить. Ее кулаки сжимались, бешенство душило ее, снова из глаз так и брызнули слезы – женские слезы злобы и бессильного бешенства.

– Успокойся, Настя! Это ты с дороги, что ли, расстроилась? Эх, горе ты мое, горе! Как подумаешь, что так легко было бы тебе стать и спокойной, и довольной, и счастливой, – уж молюсь я об этом Богу, молюсь, да, видно, еще рано.

– Не замасливай, не замасливай! – вырвалось вдруг у матушки.

У нее вообще были всегда очень быстрые переходы от одного состояния к другому.

– Ведь не скрылось от меня, как тебя ошеломило при моем виде, тебе любо было позабыть, что я есть на свете!

– Нет, я не забывал о тебе, а это правду ты сказала, что я в первую минуту, как увидел тебя, смутился, смутился я потому, что, сдастся мне, тебе вовсе приезжать не следовало.

– А почему это?

– А потому, что ты здесь себя только, видишь ли, больше расстраиваешь, только больше себя мучаешь, вредишь себе. Там, в деревне, такому человеку, как ты, гораздо не в пример легче, там ты в работе, спокойна. Работа – все лечение твое душевное, в работе тебе не приходит никаких мыслей, а тут вот... они уже и пришли. Там, в деревне, тебе некому завидовать, а тут ты каждому завидовать станешь, и ропот в тебе явится, и ох много грехов всяких! Поэтому я и смутился, но уже раз ты приехала, что тут делать! Мое смущение прошло, я возрадовался, что вижу тебя здоровой, хотел расспросить о том и о другом, обо всех соседях и прихожанах, а ты меня сейчас же встретила разными упреками. Ну что мне с тобой делать – нет, видно, тебе исцеления!

– А! Так мне нет исцеления! Тут вот не успела в дом я войти, а уж о разных твоих делах наслушалась изрядно. Видишь ли, тут ты святым угодником стал, целителем недугов... разные болезни лучше всякого дохтура излечиваешь! Ну, батюшка, отец Николай, ты вот меня болящею считаешь, вот излечи меня, чтобы я стала здоровой, чтобы сердце у меня не закипало каждый раз, как гляжу на тебя да слушаю все твои речи... Ну, если ты такой великий целитель и сила тебе такая Богом дана, то вот и излечи меня!

Отец Николай опустил глаза, и по его светлому лицу мелькнула тень печали.

– Какой я целитель! – со вздохом сказал он. – Что славу про меня такую пустили, в том я не причинен, я ее не искал, не желал, о ней не думаю. Я только делаю то, что должен делать по своему призванию и по обязанности моего сана. Какой я целитель? Люди сами исцеляются своею верою, а я только молюсь с ними. Кабы мог я с тобой молиться, Настя, и твоя душа была бы исцелена. Да ты сама не хочешь этой молитвы. Захочешь, сможешь молиться вместе со мною, ну и воспрянешь здоровой для новой жизни, а пока не можешь, я насильно не властен тебе открыть глаза.

– Уйди ты, – вдруг произнесла Настасья Селиверстовна, подбоченясь и становясь в вызывающую позу, – лучше уйди! Уйди, потому моего терпения с тобой наконец не хватит. Уйди ты от греха, комедиант, не то, право, я за себя не отвечаю... А что к князю я пойду на тебя жаловаться – это вот как Бог свят! Затем и приехала сюда.

Он хотел сказать что-то, но она наступала на него, глаза ее метали искры, ноздри так и ходили, зубы так и сверкали.

Он наклонил голову и, подавив вздох, тихо вышел и запер за собой двери.

Х

В подобные минуты, которых немало было за всю супружескую жизнь отца Николая, когда после безумных речей, грубых упреков, рыданий, брани и даже иной раз побоев расвирепевшая матушка прогоняла от себя мужа, и он, видя, что бессилен перед нею, покорно уходил – ему было куда уйти! Зимой он спешил за околицу по большой дороге, летом – в лес, в поле, и тишина деревенской природы его скоро успокаивала, и в миг один, при взгляде на торжественность Божьего мира, при первых словах молитвы, в его душе стихал невольный ропот, стихали тоска и томление. Он хорошо понимал, что ему послан крест, что его жена – это испытание для него, и ему только тяжело было видеть ее такою, и он только молился о том, чтобы Господь простил ее и снял наконец слепоту с ее очей. О себе, о несправедливостях и обидах, ему наносимых, об этой грубой, оскверняющей человека брани, об этих полученных им побоях – им, мужчиной, от женщины – он, конечно, не думал. В миг один Божие солнце, ветер или дождик снимали с него всю эту паутину, всю эту грязь и пыль, он снова дышал привольно и спокойно, снова всеобъемлющее чувство любви наполняло его душу, и он, увидя себя в уединении, падал на колени и поклонялся Творцу своему и благодарил его за все: за великое душевное счастье, ему данное, и за эти мгновения, казавшиеся ему теперь такими ничтожными испытаниями. Он с жаром, со всею силою, на какую был способен, молился о том, чтобы Творец и впредь не покидал его, чтобы он всегда, во все дни и часы своей жизни чувствовал в себе связь с Богом, могучее трепетание невидимой нити, протянутой от Творца к своему творению...

Теперь же ему некуда было идти, простор и тишина полей, лесов и большой дороги были от него далеко. Едва он успел запереть за собой двери своего помещения, как к нему подбежал один из дворовых.

– Батюшка! Пожалуй сюда, давно тебя дожидают!

– Где? Кто? – еще весь полный только что испытанных ощущений, растерянно спросил отец Николай.

– А тут вот, на крыльце, у людских, две женщины пришли, Христом Богом просят, в ноги кланяются, чтобы повидать тебя.

– Иду, иду.

И отец Николай, второпях захватив шапку и на ходу порывисто надевая на себя шубу, поспешил туда, где его ждали.

У крыльца в людской флигель он увидел две женские фигуры, из которых одна так и кинулась ему навстречу, подбежала и упала ему в ноги. Это была женщина уже немолодых лет, судя по одежде, не из простых, с лицом, носившим на себе следы былой красоты и некоторого изящества.

– Батюшка, благослови! – прошептала она.

Отец Николай склонился над ней, благословил ее, причем она схватила его руку и долго не выпускала, покрывая поцелуями.

– Дочь моя, встань! Что ты мне поклоняешься... Нехорошо! Не след!

Но женщина не вставала с колен, будто застыла в своем молитвенном положении, и все продолжала покрывать руку отца Николая поцелуями.

Он совсем растерялся и вдруг тоже упал на колени и поклонился ей.

– Поднимись, дочь моя, – шептал он, – а то что же мы с тобой так друг перед другом на коленях стоять будем, негоже, совсем негоже.

Тогда женщина очнулась, встала, и за нею встал и отец Николай.

– Чем могу служить тебе? – произнес он, но в тот же самый миг он уже знал, в чем дело. – Твой муж... твоя дочь... – неожиданно для самого себя говорил он, – ведь горе

и испытания слабых людей часто ведут к греху. Да, грех... но Бог милостив... я приду молиться с вами, приду, приду... не бойся, не обману тебя. Приду сейчас, дай только вот спросить эту...

Женщина, для которой в словах отца Николая все было ясно, которая убедилась, что этот человек знает все то, что она собиралась рассказать ему, осталась неподвижной, потрясенной, и в то же время надежда, приведшая ее к этому священнику, о котором только несколько дней тому назад она узнала, все росла и росла в ее сердце. «Да, он таков, как о нем говорили, он все знает, все видит, он спасет нас».

Между тем отец Николай подошел к другой женщине, стоявшей у крыльца. Эта была моложе, лет под сорок, с лицом бледным и спокойным, по виду и одежде – зажиточная мещанка либо купчиха. У нее на руках закутанный в теплое одеяло покоился ребенок, но ребенок не маленький, не грудной, а, по росту судя, этак лет трех или четырех.

Взглянув на ребенка, отец Николай даже вздрогнул – такое у него было ужасное и в то же время жалкое лицо. Это было человеческое лицо, но младенческого, благообразного в нем ничего не оказывалось. Это было несчастное уродливое существо с блуждающим, бессмысленным взглядом, с открытым и беспрерывно жующим ртом.

Губы отца Николая зашептали молитву, он благословил ребенка, потом мать.

– Бедный, бедный! – прошептал он. – Сколько ему лет? С рождения он у тебя болен?

– С рождения, батюшка, – тихо ответила женщина. – Давно это, ему ведь шестнадцать годов.

– Шестнадцать!

– Да, на вешняго Миколу семнадцать будет. Сначала, как родился, рос было, даже шибко рос, а потом вдруг перестал, так вот и остался.

– Ну, мать, пойдем в горницу, расскажи мне свою нужду, пойдем.

Они взошли на крыльцо; столпившиеся слуги расступились перед ними и поспешили отпереть двери в довольно просторную и чистую горницу, в которой через несколько мгновений отец Николай очутился наедине с женщиной и ее сыном. Он сел на лавку и жестом пригласил ее поместиться рядом с собою.

– Что ж у тебя, мать? – внезапно совсем успокаиваясь и глядя своими светлыми глазами то на женщину, то на мальчика, спросил священник.

Та опустила глаза, потом подняла их на него. Это были тихие, спокойные, грустные глаза, в которых выражалась большая прямота и большая покорность, безропотность.

– Да вот, батюшка, – начала женщина, – я ведь издалека – вологодская, у мужа моего торговля в Вологде, живем в достатке: всего вволю, дом свой, большой... так надо сказать – почти что по-барски живем, и что ни задумает мой хозяин, Митрий Степаныч, то ему и дается.

– Человек-то он, твой хозяин, какой – хороший?

– Хороший он человек, батюшка, ничего дурного про него сказать нельзя. Ну, там, не знаю, может, в своем торговом деле чем когда и покривил душою, не знаю я про то... а для меня всегда был добр да ласков. Почитай с малолетства я его и знала, соседи мы, старее он меня годов на семь.

– По доброй воле вы поженились?

– По доброй, батюшка, по доброй. Крепко мы с ним слюбились и вот живем без малого лет девятнадцать, и ничего такого промеж нас до сей поры не выходило.

– За что же это вам такое Господь наказание послал? Детей-то других у тебя нет, что ли?

– Есть, батюшка, как не быть, две уж большие девочки, сынок старшенький, разумный такой, почтительный паренек вышел, а вот этот второй родился.

– Наказание Божие!

– Это ты, батюшка, святое слово сказал, да, наказание мне... мне окаянной! Одна я в том виною. Как была я тяжела вот этим Николушкой, болезнь на меня напала, чаяла, не доношу да и сама не встану, вот тут я и взмолилась Богу да обеты дала: первое дело – пешком сходить на Москву, поклониться угодникам, а второе дело – три года работать, каждую свободную минуту работать... Я, видишь ты, батюшка, золотом шить мастерица, так вот и обещалась покров в собор вышить – это раз, а другое – остальные мои работы продать, а на вырученные деньги променять образ в золоченой ризе в собор приделу святого Николая Угодника и на неугасимую лампаду. Вот дала я эти все обеты, и полегчало мне, и хворость мою всю как рукой сняло: доносила я дитю совсем здоровая да и от бремени разрешилась благополучно. Ребеночек, Николаем мы его назвали, тоже здоров был, и позабыла я, грешная, окаянная, мои обеты, работать-то работала, да с ленцою, не то что в три, а в четыре года только и вышила одну пелену, а о том, чтобы в Москву идти пешком к святым угодникам да образ в золоченой ризе с неугасимой лампадкой в собор поставить, – об этом совсем забыла. И года не прошло с рождения Николушки, уже примечать мы стали в нем что-то неладное, а потом все хуже да хуже, а к четверем годам и расти совсем перестал, так несмышленочком и остался. Все дети здоровые, все дети красивые, а этот, вишь ты, какой! Всякий от него отвернется, только материнское сердце на него и глядеть-то может. И будто у меня память кто отнял, не думаю я о своем окаянстве, о том, что обманула Господа Бога, о том, что не сдержала обетов своих, только ропот во мне иной раз, большой ропот; за что, мол, Господь наказал, за что, мол, и мы, родители, страдать должны, глядя на наше детище, да и оно, ни в чем не повинное, – не то человек, не то зверь. Да какое там, хуже зверя!

– Ну, ну и что же? – весь превратясь во внимание, нетерпеливо спрашивал отец Николай.

– Вот так оно и было до этого лета; летом стою я в соборе перед иконою Николая Угодника, вдруг будто голос надо мною: «А где твои обеты? Где же твоя работа? Где неугасимая лампада? Была ли ты у московских угодников? От Бога получила, а Богу не дала и дитя свое погубила». Ровно ножом пырнуло мне прямо в сердце, так оно все кровью и облилось, упала я тогда: молиться хочу, да и не могу, побежала я к батюшке-духовнику, рассказываю ему, а он мне и говорит: «Да, это очень великое твое прегрешение, должна ты теперь замолить грех свой. Иди по обету». Вот мне от этих слов и стало легче. Через три дня вышла я с моим Николушкой, пришла на Москву, поклонилась святым угодникам, а теперь иду на Валаам и в Соловки...

– Мать, пешком все ходишь? И сына носишь? – воскликнул отец Николай.

– А то как же, батюшка? Обет такой был: пешком чтобы!

– Ведь мальчик вон какой большой, тяжел, чай?

– Сначала-то это точно, куда как тяжел был. Иной раз иду, иду, и невтерпеж станет, сяду и заплачу; ну а теперь уж привыкла, теперь уж иной раз и долго иду, а тяжести никакой не чувствую, так что порой даже забываю, что он у меня на руках.

– А муж-то, когда ты ему сказала, что пойдешь одна... с сыном, пешком, на Москву, а потом в Соловки... Он что же? Он так и отпустил тебя?

Женщина подняла на священника изумленный взгляд.

– А то как же, батюшка? Как же ему меня не отпустить было? Горько-то оно горько, ух как горько было расставаться! И его жаль, и детишек жаль, слезами они заливаются, да и хозяина слеза прошибла. А чтобы не отпустить – как же он мог? Себе он, что ли, враг! Ведь знает, что надо.

И все это она сказала так просто, так убедительно. Лицо отца Николая осветилось каким-то особенным светом, вскочил он с лавки и порывисто, неровною походкою, в очевидном волнении, весь сияющий, так и заходил по комнате.

– Ах ты счастливая! – воскликнул он вдруг, почти подбегая к изумленной женщине. – Да и сын твой счастливый, дай мне его... дай!

И он взял дрожащими руками у матери это уродливое создание, бессмысленно на нее глядевшее, и с несказанной нежностью стал осенять его крестным знаменiem, целовал его, целовал его в страшное лицо, целовал его руки и ноги.

– Батюшка, что же ты меня-то не благословишь на мое хождение?

– Чего мне тебя благословлять, мать! Бог тебя благословил, сам Бог, слышишь, благословил тебя! Милости Его над тобою и над твоим сыном!

– Батюшка, батюшка! Так неужто Николушко мой несчастненький здоров будет? Неужто Бог простит мне мое окаянство?

– Простит! Простит! Он уже давно простил тебя! А Николушка твой... зачем ему быть здоровым... зачем? Ему и так хорошо... хорошо у твоей груди, тепло ему у нее... Он счастливый! И ты, и он – вы оба счастливее вельмож и царей земных... счастливее меня грешного! Вы убогие... У Бога вы, значит, под Его покровом. Его сила над вами и в вас. Его святою силою идешь ты, мать, не чувствуя тяжести своего детища... Широкая дорога перед тобою, и приведет она тебя к Богу, к великому блаженству. Счастливая ты, мать, Христос с тобою!

И он жадно, жадно глядел на нее, крестил ее и затем охватил ее голову и прижался к ее лбу губами.

– Спасибо, родная, что пришла ко мне, что дала взглянуть на себя, душе теплей стало, веселей, на сердце радостней!

Теперь женщина уже ничему не изумлялась и глядела на священника ласково и любовно. Тихие слезы катились у нее из глаз.

– Батюшка, – сказала она наконец, – хоть и полегчало мне, как дошла я до Москвы, а все же до сей вот минуты была я в тумане, а ты вот снял с меня этот туман, великое тебе спасибо! Подкрепил ты меня, и теперь нет уж во мне ни страха, ни трепета ни за себя, ни за Николушку, ни за хозяина, ни за детушек... Спасибо тебе, батюшка!

Она поклонилась ему низко, большим русским поклоном. Он еще раз благословил ее с Николушкой и светлый, бодрый, будто окрыленный, вышел из горницы.

XI

В сенях отца Николая дожидалась женщина, к которой он обещал пойти. Увидя ее, он подал ей знак и торопливой, нервной походкой устремился к воротам. Женщина едва за ним поспевала. Казалось, не она, а он ведет ее. Он стремился будто давно знакомой ему дорогой, быстро прошел улицу, обернулся, взглянул на свою спутницу и, прежде чем она могла словом или знаком его направить, решительно свернул в сторону. Потом он остановился перед воротами очень невзрачного домика и сказал:

– Мать, ступай вперед.

Она скользнула в калитку, обошла кругом грязный, загроможденный всякой рухлядью двор и с усилием отперла низенькую дверцу. Когда эта дверца пропустила ее, с ней вместе прошел и отец Николай. Они очутились в просторном, но невероятно грязном и дымном помещении. Два маленьких заледеневших окна едва освещали картину той полной нищеты, которая уже не только не может, но и не хочет, в своем безнадежном отчаянии, прикрывать свои язвы и свое безобразие.

Однако и в этой дымной холодной полумгле быстрый и ясный взгляд священника сразу разглядел все, что ему надо было видеть. Он разглядел в углу, на жалком подобии кровати, фигуру спавшего человека, прикрытого лохмотьями. От этой фигуры он перевел глаза к одному из окошек. Там, стараясь примоститься поближе к свету, сидела с работой в руках молодая девушка. Несмотря на крайнюю бедность одежды, нечесанные волосы и вообще неряшливый вид, это была очень красивая девушка, и каждый, глядя на нее, должен был сказать себе, что девушка эта, наверное, родилась не в бедности и не для бедности. Она медленно подняла свои большие глаза на пришедших, затем тотчас же опустила их к шитью и осталась неподвижной, равнодушной.

– Катюша, ах, Боже мой, да что же это ты?.. Подойди же под благословение батюшки! – растерянным голосом произнесла женщина, с которой пришел отец Николай.

Молодая девушка не тронулась с места и не произнесла ни слова.

– Оставь ее, мать, – сказал священник, – я благословлю ее в свое время, теперь же она нас не слышит. Сядем, и поведай мне свое горе.

Они кое-как поместились на старом большом сундуке, и отец Николай, склонив голову и глядя светлыми глазами поверх всего окружающего в беспредельное пространство, услышал скорбную повесть. Говорившая ему женщина родилась в богатой дворянской семье, выросла в холе, вышла замуж за человека своего круга, помещика Метлина, и жила несколько лет спокойно и счастливо. Родилось двое здоровых красивых детей, мальчик и девочка. Дети уже подрастать стали. И вдруг будто сразу прорвалось что-то, посыпались на эту счастливую семью одно за другим всевозможные несчастья.

– Метлин, сам того не желая и не по своей вине, поссорился с богатой и влиятельной роднёю. Родня стала всячески притеснять его, завела с ним тяжбу, задарила всех судей и неправильно оттягала у него почти все имение. Да и не только своим имением, а и жениным приданым он должен был поплатиться. Пожар усадьбы, где они жили, уничтожил остальное. Никто из родных и близких людей не вступился – все отвернулись, как от зачумленных.

Собрали Метлины кое-какие крохи и перебрались с детьми в Петербург, надеясь доказать свою правоту и вернуть незаконно отнятое имение. Жили в бедности, но не замечали ее, не теряли бодрости духа, верили в торжество правды. А время шло. Прошло четыре года. Сын, прекрасный и добрый мальчик, отрада и надежда родителей, не выдержал лишения, простудился зимою в легкой одежде и, проболев, прометавшись в жару несколько дней, умер. Все старания Метлина доказать свою правоту остались напрасны, кроме вечных неудач, оскорблений, он ничего не видел. Жить стало совсем нечем. Пробовал искать

службы – и тут не повезло, не удалось ему найти себе хоть какого-нибудь маленького места. Чтобы не умереть с голоду, приходилось иной раз ходить на поденщину. Жена с дочкой, уже выросшей, ходили по домам, выпрашивая себе работу – шитье, вязанье, все, что можно было достать...

– Думала я, батюшка, – говорила Метлина отцу Николаю, что уже хуже с нами быть не может, а случилось худшее, подкараулило нас такое горе, какого я и во сне не видывала, а сны-то мне снились уж какие страшные да тяжкие!.. Терпел мой Петр Ильич, все терпел, и никогда не слыхала я от него речей богохульных... А тут вдруг вернулась я домой с Катюшей, этому уж восемь месяцев будет, гляжу на него и не узнаю: не он совсем – лицо страшное, глаза кровью налиты, дышит тяжело, зубы стучат, кулаки сжаты: «Довольно, говорит, будет! Нет, говорит, на свете ни правды, ни Бога, их глупые да счастливые люди выдумали!» Кинулась я к нему, обняла его, слезами обливалась: «Батюшка мой, очнись, что ты говоришь, не бери греха на душу, не губи себя». А он как оттолкнет меня да такое вымолвил, что повторить у меня и язык не повернется. С тех пор запил, запил, иной раз дня по три, по четыре пропадает, вернется пьяный и вот завалится, спит... Бывает, и деньги у него водятся, а откуда те деньги, придумать не могу, да и боюсь думать...

Рыдания подступили ей к горлу, но она удержала их и продолжала:

– И этого горя, видно, мало было. Катюша моя, на отца, что ли, глядя, стала на себя не похожа. По целым дням молчит, по ночам плачет. А потом вот точь-в-точь как он: будет, говорит, довольно! Я ей рот зажимаю, а она от меня и руками, и ногами. Вот уж третью неделю она меня изводит. Не могу, говорит, больше так жить. либо повешусь, либо, забыв стыд, стану жить в палатах... Вот ее речи! Батюшка, спаси ты нас, на тебя только и надежда!

– Не на меня, а на Бога, – тихо сказал отец Николай. – Молись, мать.

– Молилась я, батюшка, молилась. Без молитвы-то как бы я прожила! И вера была, крепкая вера... А теперь, теперь и хочу молиться, да не могу... душа, знать, молчит, на молитвенные слова не откликается... и вера... ищущая ее – и нет...

– А ты все же молись и ищи веры...

Он уже сам молился. На него уже сходил молитвенный трепет, и он уже искал, жадно и тревожно, той спасительной и надежной нити, которая поднимала, окрыляла всю его душу и приводила его в общение с высшей, святой, всемогущей силой. Он подошел, почти шатаясь, к спящему человеку и простер к нему руки.

– Встань, – произнес он.

И человек приподнял голову, сел на кровати и изумленно воспаленными глазами глядел на священника. Девушка у окна тоже было повернула голову, но затем вдруг резким движением склонилась еще ниже над своей работой.

XII

– Кто это, кто?.. Зачем? Чего вам от меня надо? – шептал Метлин.

Недоумение, робость, даже ужас изображались в его воспаленных глазах. Дрожь пробегала по его телу. Это был человек лет около пятидесяти, крупного и сильного сложения, с лицом, еще сохранившим следы породистой красоты и благородства. Но долгие лишения, несчастия и пьянство последних месяцев исказили, измозжили это лицо, придали ему болезненную одутловатость, и вся эта большая, сильно исхудавшая фигура как-то съежилась, сгорбилась и производила жалкое впечатление, говорила о падении, о беспомощности.

В последнее время, находясь почти постоянно в болезненном возбуждении под влиянием вина, Метлин мало-помалу начинал жить какой-то фантастической жизнью. Он переставал ясно отличать действительность от своих болезненных представлений и галлюцинаций, и то, и другое путалось перед ним и в нем смешивалось. Он жил в ярком мучительном бреде, ему чудились несуществующие в действительности лица, и эти лица были так реальны, ощутимы, что он говорил с ними, и они ему отвечали.

Ему и теперь казалось, что перед ним одно из таких лиц. Только он еще в первый раз видел такое лицо, и оно несколько не было похоже на прежние, всегда мучившие его призраки.

Полные внутренним светом глаза отца Николая неотразимо влекли его к себе, и в то же время ему становилось страшно, так как эти глаза глубоко проникали ему в душу и видели в ней то, чего никто не должен был видеть.

– Кто это? – повторял он, и ему хотелось уйти, спрятаться от этого всевидящего взора. Ему невыносимым становилось новое, охватывавшее его ощущение своей нравственной наготы перед незванным, непрошеным свидетелем.

Между тем отец Николай вдруг охватил его голову руками и прижал ее к своей груди. Это было невольное движение, видимое выражение того, что должно было совершиться. Человек, полный веры и силы, взял, весь горя сожалением и любовью, больную, измученную голову обессиленного человека в полное, непосредственное общение с собою и действовал на этого человека всем своим внутренним миром. Такое воздействие не могло остаться бесплодным, и совершилось именно то, чего «хотел» отец Николай: больной, измученный человек быстро начинал выходить из своего тумана и бреда.

Огонь, паливший его внутренности, угасал; мучительное беспокойство сменялось тихим, почти приятным утомлением. Мир призрачных представлений померк, действительность выступила в своей обычной простоте и рельефности, и Метлин понял, увидел, что он у себя, среди своей нищенской обстановки, что какой-то человек в одежде священника прижимает к своей груди его голову и что ему тепло, и странно, и отраднo на груди этой.

Но вот еще раз, не в забытье, не под влиянием винных паров, а от вернувшегося сознания тяжких бед и надломившей его непосильной борьбы, в нем поднялось отчаяние, возмущение, мучительная злоба. Он оторвал свою голову от груди священника, отстранился и глядел на отца Николая мрачными, холодными и злыми глазами. Ему теперь припомнилось, как недавно сквозь пьяный бред свой он слышал голос жены; она говорила с кем-то о святом человеке, священнике, который помогает в разных бедах и напастях. И он сообразил, что это и должен быть тот самый священник; жена привела его, и, верно, этот ее святой человек хочет спасти его, Метлина, от запоя. Когда он сообразил это, злоба, как кипятком, обдала его сердце, и все у него внутри будто вспыхнуло. Ему захотелось надругаться над этим «святым» человеком и выгнать его вон. Как смел он прийти к нему? Он нищий, но все же он у себя хозяин и ему никого не надо!

Но что-то будто сковывало ему язык.

– Зачем вы пришли ко мне? Мне вас не нужно, я еще не умираю! – с трудом произнес он.

Отец Николай ничего не ответил.

– Да, я понимаю, – продолжал Метлин, и жалкая, насмешливая усмешка скривила его лицо, – понимаю!.. Ты хочешь, батюшка, наставлять меня на путь истинный, толковать мне о грехах моих, о моем окаянстве и о милосердии Божиим!.. Напрасный труд – я уж давно на шкуре своей изведаль, к чему ведет истинный путь... а Бог... до Него так высоко, что Он не видит нас и не слышит...

– Замолчи! – вдруг воскликнул отец Николай с такою силой, что Метлин не был в состоянии произнести слова, будто внезапно онемел. – Замолчи, несчастный, не богохульствуй... не помышляй о том, чего не можешь постигнуть!.. Не видит, вишь, и не слышит! А вспомни-ка, обращался ли ты к Творцу и Господу так, чтобы Он тебя видел и слышал? Молился ли ему всей глубиной своей души... с той несокрушимой верой, какая должна исходить от малого беспомощного дитяти к отцу, в котором все его спасение, все его упование? Полагался ли ты на Него безропотно, с терпением и кротостью?..

Метлин внезапно отрешился от всех своих ощущений, от своего гнева и злобы, он вдумывался в слова священника и понимал, что никогда не верил в Бога, как в отца, никогда не превращался, обращаясь к Нему, в беспомощного ребенка, никогда не полагался на Него безропотно и с терпением. В нем всегда было именно нетерпение, ропот, возмущение несправедливостью, медлительностью Божьей защиты.

– Но если я слаб, Бог должен был укрепить меня, а не терзать через меру! – вдруг воскликнул он. Отец Николай покачал головою.

– Кто ж это сказал тебе, что ты знаешь меру своих сил! Всякое испытание, посылаемое человеку, есть только пища души, и душа, вкушая сию пищу, может и должна крепнуть, расти, очищаться. Но человек свободен, а посему может погубить свою душу, предавшись злу, которое сторожит его особенно во времена испытаний. Вот и ты: твоя душа уже начала крепнуть и очищаться благодаря пище испытаний. Ты среди бед и несчастий становился добрее, чище, снисходительнее, кротче, умнее, чем во времена благополучия. Так ли я говорю?

– Так! – прошептал Метлин, не спуская глаз с отца Николая.

Священник продолжал:

– Но ты допустил в себе зло и внезапно ослабел, и начал шататься, и усомнился в добре и правде, в Боге, и душа твоя стала разрушаться. Но Бог милосерд, Он приходит на помощь слабости человеческой! Если ты почувешь Бога, если почувствуешь и поймешь, что Он видит тебя и слышит, – ты спасен.

– О, если б я мог это! – отчаянно воскликнул Метлин.

– Пожди еще малое время с терпением и увидишь, что Господь снизойдет даже и к телесной твоей слабости. Он знает меру сил человека и чрезмерно не испытует. Верь, что Он придет тебе на помощь без промедления, я обещаю тебе это, а когда увидишь Божью помощь, то откажись навеки от зла и омой свою греховную душу добром и любовью.

Отец Николай поднялся с сияющим лицом.

– Веришь ли, что я тебя не обманываю, что спасение твое близко?

– Верю! – воскликнул Метлин, вдруг падая на колени и осеняя себя крестным знаменем. Мир и радость теперь наполнили его душу. Ничего не изменилось вокруг него – те же горе и беды были позади, та же безысходная нищета в настоящем, тот же голод и холод, а между тем душа его ликovala и он без ужаса, с надеждой смотрел вперед – он верил.

Его жена тоже молилась и громко плакала, и это были благодарные, освежающие слезы.

Одна Катюша по-прежнему сидела у окна. Только теперь она уж не делала вид, что работает. Она бросила работу свою на пол и бледная, с дрожащей по временам нижней губою, во все глаза смотрела на отца Николая. Вот он благословил ее отца, потом мать. Он подходит к ней. Она вскочила и остановилась перед ним, сверкая глазами. Его рука уже поднимается для благословения.

– Лгун! Обманщик! – вдруг злобно крикнула Катюша и, очевидно не владея собою, выбежала из комнаты во двор как была, в одном платье.

Метлины, ошеломленные, в ужасе, даже не тронулись с места.

– Бог милостив! – сказал отец Николай, перекрестился и поспешно вышел. Когда он проходил по двору, то почувствовал на себе злобный взгляд Катюши. Она действительно глядела на него из полуотворенной двери в соседнее помещение. От этого взгляда легкая дрожь пробежала по телу священника, и он стал молиться за несчастную девушку.

XIII

В это время Настасья Селиверстовна, находившаяся в полном одиночестве, продолжала получать неожиданные впечатления. Когда отец Николай ушел и ей стало ясно, что он не скоро вернется, она мало-помалу начала утихать. Ее горячее сердце успокоилось. Она теперь чувствовала, что «отошла» с дороги, совсем отогрелась, напилась, что ей хорошо и приятно в этих богатых княжеских покоях. Она обходила то одну, то другую комнату, с любопытством по нескольку раз разглядывала каждую вещь и любовалась каждым креслом, столом или шкапом... Незаметно и бессознательно чувство довольства охватывало ее. «Вот бы пожить здесь вольготно, в свое удовольствие!» – невольно говорила она самой себе. Потом она остановилась на такой мысли: «Да ведь не выгонят же отсюда, не пошлют на кухню жену, когда муж живет в барских палатах. Где он, там и она... Вот придет кто-нибудь – она так прямо и скажет: тащите, мол, сюда и мне кровать да перину, с дороги, мол, притомилась, соснуть хочу... Ну и притащут кровать да перину, расположится она тут как боярыня... А там, дальше, видно будет...»

Дверь скрипнула... Это, наверное, тот человек, что еду ей и сбитень принес. Она ему и скажет. Но на пороге двери был совсем «не тот человек, а молоденькая девица в богатой господской одежде и красоты неописанной. Настасья Сильверстовна совсем растерялась и даже рот разинула – в жизнь свою она такой красоты не видывала. Но долгое смущение было не в характере матушки, а потому она тотчас же оправилась, поклонилась не без достоинства и проговорила:

– Что прикажешь, сударыня, за каким делом пожаловала?

Вошедшая девица робко сделала несколько шагов вперед, подняла глаза на матушку и нетвердым голосом сказала:

– Мне надо бы видеть отца Николая... Я знаю, его нет теперь дома... но не могу ли я обождать его здесь... ведь он здесь живет?

– Здесь-то, здесь... – как-то раздумчиво протянула Настасья Сильверстовна и замолчала.

Один глаз ее полуприщурился и не то насмешливо, не то подозрительно глядел на молодую девушку. Та смутилась еще больше, покраснела и почти испуганно спросила:

– А вы... вы кто же?

– Я-то кто?.. Я моего мужа жена. Вот из села приехала – и диву даюсь, всем-то до моего попа дело, нарасхват он... и впрямь, видно, народ здесь с придурью, своих, вишь, попов мало, за деревенского ухватились...

И при этом глаза матушки, упорно устремленные на молодую девушку, очень ясно и красноречиво прибавляли: «И ты, мол, девка, с придурью!.. Ну чего влезла, убирайся-ка подобру-поздорову, пока хуже не вышло!..»

– Скажи ты мне, сударыня, – вдруг после небольшой передышки воскликнула матушка, – скажи мне, никак я, вишь, того в толк взять не могу, ну на что вот хоть бы твоей милости мой отец Николай?

Но матушке, недоумение и раздражение которой возросли до высшей степени, не пришлось договорить, не пришлось услышать ответа на не дающий ей покоя вопрос. Вошел отец Николай, и все лицо его так и осветилось радостью, когда он увидел молодую девушку. Та же радость, только борющаяся со смущением, отразилась в глазах юной красавицы.

– Добро пожаловать! – воскликнул священник, прямо подходя к ней и благословляя ее. – Я поджидал вас, и ежели бы вы не нашли меня, то я сам бы нашел вас... Сердце сердцу весть подает... Так-то!

Он как бы совсем не замечал присутствия жены. Он ласково положил руку на плечо девушки, указывая ей на кресло и приглашая ее садиться. Потом он взглянул на жену и спокойно сказал:

– Настя, прошу тебя, оставь нас, нам надо побеседовать без свидетелей.

Вся кровь бросилась в голову Настасьи Селиверстовны. Она уже хотела по-свойски выразить свое негодование, у нее уже вертелось на языке такое слово, которое, наверно, должно было заставить непрошеную посетительницу удалиться. Отец Николай почувствовал все это и остановил на жене пристальный, решительный взгляд.

– Настя! – повторил он, и она в первый раз в жизни присмирела перед его взглядом и словом и хотя с явным неудовольствием, даже со злобой, но все же молча, вышла из комнаты и заперла за собою дверь. Будто какая невиданная сила заставила ее опуститься в кресло, далеко от этой двери, так что ей никак невозможно было слышать разговора отца Николая с пришедшей к нему девушкой. Да она и не стала бы подслушивать, эта мысль даже и не пришла, не могла прийти ей в голову, – она во всю свою жизнь действовала прямо, открыто, была совсем чужда хитростей и уловок. А главное, она была полна своего рода собственным достоинством.

Вот это-то чувство собственного достоинства, ее самолюбие страдали теперь чрезвычайно. Она считала себя гораздо крупнее, значительнее и умнее своего мужа. Во все время своей супружеской жизни она все более и более проникалась убеждением, что не только их дом держится единственно ею, но что и сам отец Николай без нее – ничто. Разве он что-нибудь умеет, разве он знает, как надо жить, как надо относиться к людям?

Несколько раз приходилось ему, благодаря своему «чужацеству» и непониманию, наживать себе большие неприятности и подвергаться гневу начальства. В таких случаях что он делал? Да ровно ничего, молчал, не защищался и не оправдывался, вообще держал себя так, как будто дело его вовсе не касалось. Не приходи она всякий раз ему на помощь, он бы теперь, несмотря на свои отношения к князю Захарьеву-Овинову, которыми вдобавок никогда не пользовался, был бы уж, пожалуй, лишен прихода. Местное духовенство его почему-то недолюбливало, и вообще врагов у него оказывалось немало. Но она, узнавая о грозящей неприятности, начинала действовать: ехала в город, находила доступ ко всем нужным лицам, умела поговорить с ними и возвращалась домой, отстранив неприятность. Она принималась очень горячо, даже чересчур горячо, объяснять мужу, чем он ей обязан. Выражал ли он ей, по крайней мере, свою благодарность, ценил ли ее? Ничуть.

Так было всегда. И вдруг все изменилось. Отец Николай, никогда почти и в город-то не ездивший, собрался и уехал в Питер. При этом он выказал непреборимую решительность, о которую разбились все усилия, доводы и натиски Настасьи Селиверстовны.

– Князь болен, умирает, ему тяжело, я должен его видеть, потому и еду, – объяснил отец Николай, и больше от него ничего нельзя было добиться. Пришлось его отпустить и снарядить в дорогу, что Настасья Селиверстовна и сделала со всей своей привычной добросовестностью и заботливостью. Провожая мужа, она наказывала ему не мешкать в Питере и возвращаться как можно скорее во избежание неприятностей с начальством.

– Ни дня не медли, – повторила она, – сам знаешь, рады будут тебе ногу подставить, так ты на это не напрашивайся.

– Там видно будет... все образуется... – как-то загадочно, будто про себя, говорил отец Николай.

И вот стали проходить недели за неделями, а его все нет. Настасья Селиверстовна рвала и метала, ждала его ежедневно, боялась, что вот-вот и скажутся последствия его долгой отлучки – назначат нового священника. Что тогда? Но ничего подобного не случилось, и она поняла, что князь все устроил, что пребывание отца Николая в Питере не ставится ему в

вину начальством. Тогда в ней поднялась досада, которую она достаточно ясно и высказала в своей беседе с мужем.

Но теперь была уж не досада, а явившееся сознание, что происходит нечто непостижимое, что их роли изменились. Здесь, в Питере, в этой чудной столице, где все для нее – диво, где, несмотря на всю свою душевную крепость, она невольно робеет, где она – ничто и сама себе кажется совсем не на месте, он, ее муж, «юродивый самодур», как она его очень искренне называла, он у себя дома, на своем месте. Ото всех ему почет, всем он нужен, все его на руках носят! Вот уж и боярышни-красавицы, каких она отродясь не видывала, к нему прибегают да с ним о своих делах тайных совещаются! Этого только недоставало! А жену – вон! Не мешай, мол, незваная помеха!..

Конечно, тут же Настасья Селиверстовна соображала, что он – священник, что ничего нет предосудительного в том, если к нему хоть бы и боярышня-красавица обратится за советом, за утешением, и что в таком случае их беседа должна быть наедине... Но именно то обстоятельство, что во всем этом нет ничего предосудительного, и доводило ее до нестерпимого раздражения.

«Какое лицо у него стало, как он увидел эту красавицу!.. И она тоже вся так и просияла... А он-то, он-то: за плечо ее... Сердце, мол, сердцу весть подает... кабы не ты ко мне, так я бы к тебе!.. А, каково! Я-то ведь тут... и на меня, будто на собаку: вон пошла!..» – вот в такую определенную форму вылились наконец все помышления и чувства матушки.

Горькая обида наполнила ее сердце, и к этой обиде примешалось еще что-то непонятное, незнакомое. И это непонятное и незнакомое было горьчее всякой обиды, кипучее гнева, сильнее злобы.

«Сердце, мол, сердцу весть подает!..» – почти во весь голос повторила Настасья Селиверстовна. Голова ее склонилась, она закрыла лицо руками и заплакала так тихо, так горько, как не плакивала ни разу в жизни.

XIV

Если б Настасья Селиверстовна подошла теперь к двери и отворила ее, она увидела бы, что юная красавица склонилась к отцу Николаю, а он держит руку на голове ее и смотрит так нежно, так любовно, с таким восхищением во взгляде. Священник действительно всем существом своим любовался на это чудное Божье создание, на эту раскрывшуюся перед ним чистую девическую душу, еще более прекрасную, чем ее прекрасная оболочка. Еще никогда не встречал отец Николай такого создания и радовался, что ему пришлось с ним встретиться.

Ему не надо было выводить из смущения свою посетительницу, убеждать ее быть с ним откровенной. Зина Каменева, почувствовав себя с ним наедине, сразу забыла всю свою робость и все свое смущение. Ей нетрудно было в несколько минут передать ему все: он понимал ее с полуслова, его ничто не изумляло, все было для него ясно.

А между тем ее исповедь была гораздо сложнее той, которую она так недавно и с не меньшей искренностью передавала императрице. Дело в том, что с тех пор прошли часы, прошли целые сутки, и во время этих суток все изменилось в душе Зины.

Когда она после встречи с Захарьевым-Овиновым вернулась от императрицы в свои комнаты, она сразу изумилась происшедшей вокруг нее перемене. Все на своем месте, все как было, а между тем ничего прежнего не осталось. Все эти последние дни Зине очень часто делалось жутко, когда она одна оставалась у себя. Что-то мучительное, даже более мучительное, чем панический страх, охватывало ее. Это был ужас, происходивший от неизвестности и непонимания.

Она ничего не видела ни перед собой, ни в себе самой: в ней совершалось нечто ужасное и отвратительное. Она испытывала такое ощущение, будто глухой глубокой ночью пришла на кладбище, и все мертвецы встали из могил и окружают ее, и она не в силах бежать от них и должна отдаться им во власть.

Только вспоминая слова священника и то чувство успокоения и защиты, которое она ощутила под его влиянием, она несколько отдыхала, но впечатление это скоро проходило, и снова туман и ужас охватывали ее. Образ доброго священника исчезал, и его место занимал другой, страшный образ, от которого некуда было спрятаться и нечем было защищаться.

Теперь же сразу все изменилось. Вот этот образ здесь, в ней, наполняет ее, а между тем прежнего ужаса, прежнего страха уже нет. Она знает, что непонятный и ужасный человек никогда не уйдет от нее, что она никогда от него не избавится, но уже она его не боится. Он тот же самый, она не узнала ничего такого, что могло бы изменить ее взгляд на него, то же самое тяжкое и таинственное преступление лежит на нем, та же самая мучительная смерть неповинной жертвы стоит между ними, а все же она не боится уже этого призрака, не боится его влияния на ее собственную жизнь. Она еще не знает, каким путем должна прийти до успокоения, не знает, чем он снимет с себя свое тяжкое преступление и чем она его оправдает, но уже раз у нее явилась уверенность, что есть оправдание, что можно смыть это преступление – и все изменилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.